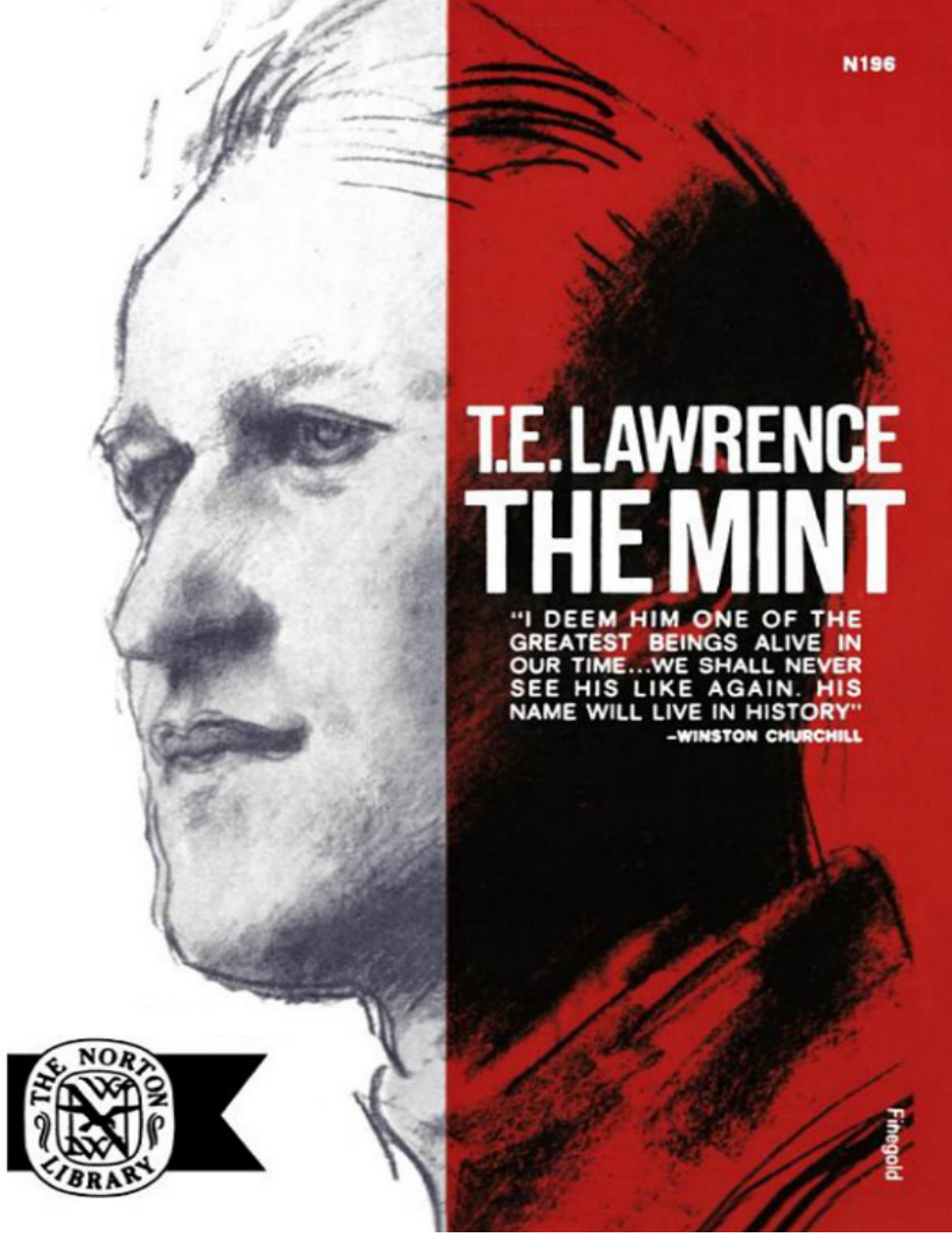
N196
T.E. LAWRENCE
THE MINT
"I DEEM HIM ONE OF THE GREATEST BEINGS ALIVE IN OUR TIME...WE SHALL NEVER SEE HIS LIKE AGAIN. HIS NAME WILL LIVE IN HISTORY"
-WINSTON CHURCHILL
THE NORTON LIBRARY
Finegold

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Чеканка (The Mint) — воспоминания знаменитого разведчика и путешественника Т. Э. Лоуренса (1888–1935) об обучении в качестве новобранца в школе Королевских военно-воздушных сил в Аксбридже. Книга закончена в 1927 году, но, по воле Лоуренса, была издана только после смерти автора в 1955 г.

- Т. Э. Лоуренс
- Предисловие А. У. Лоуренса
- Чеканка
  - Часть первая
    - 1. Вербовочный пункт
    - 2. Ворота
    - 3. В парке
    - 4. Страх
    - 5. Первый день
    - 6. Мы
    - 7. Новая кожа
    - 8. Офицерская столовая
    - 9. Гимнастика
    - 10. Отбой
    - 11. Работы
    - 12. Подъем
    - 13. Тщеславие
    - 14. Выходной
    - 15. Церковь
    - 16. Столовка
    - 17. Капрал Эбнер
    - 18. Бейкер на перекличке
    - 19. Дерьмовоз
    - 20. Наш командующий офицер
    - 21. Кодекс общения
    - 22. Ломать или строить
    - 23. У повара
    - 24. Инспекция
    - 25. Надувательство
    - 26. Китаеза в беде
    - 27. Проповедь
    - 28. Форма для отливки
    - 29. Последний наряд
  - Часть вторая
    -

        - 1. Строевая подготовка
        - 2. Четыре чувства
        - 3. Офицеры, прошу!
        - 4. Капралы и сержанты
        - 5. Мои часы
        - 6. Неумеренный
        - 7. Заново
        - 8. Распорядок дня
        - 9. Школа
        - 10. Наш инструктор
        - 11. Раньше и теперь
        - 12. Переоценка
        - 13. Еще немного
        - 14. Церемониал
        - 15. «В нагрузку»
        - 16. Неповиновение
        - 17. Еще один шанс
        - 18. Публика
        - 19. Одиночка
        - 20. В карауле
        - 21. Стиффи
        - 22. Освобождение
    - Часть третья
        -
        - Пояснение
        - 1. По железной дороге
        - 2. Отряд Б
        - 3. Манеры
        - 4. Первая запись
        - 5. Жилище
        - 6. Тело и душа
        - 7. Ангар
        - 8. Работа
        - 9. Похороны
        - 10. Вечер танцев
        - 11. На параде
        - 12. Полицейское дежурство
        - 13. Путь птицы
        - 14. Классы
        - 15. Непрочность
        - 16. Дорога
        - 17. Четверг, вечер
        - 18. Интерлюдия
- notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44

- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

Т. Э. Лоуренс
Чеканка

Дневник механика авиации Росса, номер 352087, на сборном пункте ВВС между августом и декабрем 1922 года, с последующими заметками

Предисловие А. У. Лоуренса

В 1922 году Т. Э. Лоуренс записался в ряды ВВС под именем Джона Хьюма Росса. Со сборного пункта в Эксбридже он писал Эдварду Гарнетту[1] 7 сентября этого года: «Я ловлю себя на том, что жажду оказаться в пустой комнате, или на уединенной кровати, или хоть на минуту в одиночестве, на вольном воздухе. Однако здесь потрясающий материал, и если бы я мог записать его…» В позднейшем письме к Гарнетту он говорит, что делает здесь заметки, «нацарапанные вечером, между отбоем и сигналом гасить огни, в постели». Из них получилась бы, по его мнению, «железная, угловатая, отталкивающая книга, такая, которую никто не взялся бы читать по доброй воле». В январе 1923 года он был уволен из ВВС, когда была раскрыта его личность, но ему было позволено снова вступить через два с половиной года, на этот раз под фамилией Шоу, под которой он все это время прослужил в танковых частях. После нового зачисления он возобновил свои записи.

В августе 1927 года он пишет из Карачи Гарнетту, что нарезал и разместил эти заметки по секциям и переписывает их по порядку в записную книжку «как подарок на рождество (только на какое рождество?) для вас». В рукописи, или в машинописном варианте, сделанном из нее, «Чеканку» прочло небольшое количество людей, включая Бернарда Шоу и Э. М. Форстера[2]. 6 августа 1928 года, отвечая на письмо Форстера, он рассказал подробнее всего о происхождении книги; следует сравнить это с тем, что написано во вступлении к третьей части. «Каждый вечер в Эксбридже я обычно сидел в кровати, подогнув колени под одеялом, и записывал на клочке бумаги то, что произошло за день. Я пытался записать все, считая, что память и время все рассортируют и позволят мне отделить существенное от несущественного. Время прошло, пять лет и больше (это ведь достаточно долго, чтобы память осела?), и в Карачи я собрал эти заметки, чтобы сделать из них книгу… и, вместо того, чтобы выбирать, я вогнал в книгу, куда придется и как придется, каждое предложение, написанное в Эксбридже.

Я писал тесно, потому что наши одежды такие тесные, и мы так тесно живем на службе. Здесь нет никакой свободы воли. Разве я был не прав? Дж. Б.Ш., наверное, скажет — слишком сухо. Я вставил небольшие предложения о пейзаже (парк, трава, луна), чтобы смягчить иногда тень рабства. Для тех, кто на службе, нет людей на земле, кроме тех, кто тоже на службе… но мы видим деревья, и звездный свет, и животных, иногда. Я хотел выразить

нашу отдаленность.

Вы хотели, чтобы я написал, как покинул ВВС, и что-нибудь про танковый корпус. Только я все еще чувствую жалость о потерянном времени, когда меня вышвырнули тогда, в первый раз. Я собирался поступить в эскадрилью и написать о настоящих Воздушных Силах, и сделать из этого книгу — КНИГУ, я хочу сказать. Это самый большой предмет, который я когда-либо видел, и я думал, что смогу его ухватить, потому что чувствовал это так остро. Но все это во мне было сломано, и я до сих пор не поправился. Я никогда снова не восстановлю тот ритм, который освоил в Эксбридже, в противостоянии со Стиффи… и потому будет неверно, если бы я пытался вымучить какой-нибудь рассказ об этом сейчас. Заметки доходят до последнего дня в Эксбридже и там резко обрываются.

Крэнвелловская часть — это, конечно же, никакая не часть, а наброски. Я не вел для нее записок… не более, чем я когда-либо собираюсь вести какие-либо дальнейшие записки о моей ВВСовской жизни. Теперь я — это ВВС, и период записок миновал. На самом деле часть о летном училище была вытащена на свет, чтобы, как вы сказали бы, снять горечь, если там есть горечь, страниц о сборном пункте. ВВС вовсе не было разрушительным, унизительным рабством все это время. Там есть солнечная сторона, и приличные отношения, и подлинная мера счастья для тех, кто не заглядывается вперед или назад. Я хотел сказать об этом, не ради пропаганды, а из честности, рискну оскорбить ваши литературные уши, но из правдивости. Я решил дать картину ВВС, и моя картина могла бы быть впечатляющей и умной, если бы я показал лишь теневые стороны… но я создавал не произведение искусства, а портрет. Если он по случайности окажется литературой (здесь я вам не верю: вы пристрастно добры), то по причине своей искренности, и то, что написано о летном училище, так же искренне, как остальное, и это неотъемлемая часть ВВС.

Конечно, я знаю и презираю отрывочность последних глав: это недостаток памяти, той памяти, которая знала, что странным образом счастлива там, но остерегалась закапываться слишком глубоко в это счастье, чтобы не проткнуть его насквозь. Довольство так хрупко в жизни рядовых. Если бы я слишком внимательно думал о Крэнвелле, возможно, и там бы нашел несчастья. Но уверяю вас, что, оглянувшись назад, я вижу все в солнечном свете.

О летном училище у меня были записи. Из писем — о похоронах королевы Александры (Гарнетт их хвалит. Шоу говорит, что это подлость уличного мальчишки, смеющегося над

старостью. Я был так огорчен и расстроен за бедную старую королеву), часы в караулке, парад ранним утром. Танцы, ангар, работа и остальное были написаны в Карачи. Это репродукции сцен, которые я видел, или того, что я чувствовал и делал… но все двухлетней давности. Другими словами, технически они наравне с той же манерой, что «Семь столпов»: в то время как заметки — это фотографии, которые снимались день за днем, и воспроизведены полностью, хоть и не без изменений. Ни строчки из эксбриджских заметок не пропущено: но ни строчки не осталось неизменной.

Я писал «Чеканку» со скоростью около четырех глав в неделю, копируя каждую главу четыре или пять раз, чтобы она обрела законченные очертания. Если бы я продолжал копировать, я бы лишь восстанавливал уже вычеркнутые варианты. Похоже, мой ум сгущается после того, как перерабатывает материал несколько раз.

Настойчивость в том, что я называю это заметками — не попытка сбить с толку. Раздел о сборном пункте должен был стать коротким вступлением к длинному разделу о бытии ВВС, о летной работе. Ход событий погубил дальнейшую книгу: так что перед вами вступление, только растянутое».

В последующем письме Форстеру он объяснял, что чувствует себя неспособным публиковать книгу по причине «ужаса, который почувствуют ребята, служившие вместе со мной, когда я начну выдавать их с головой в моменты «вольностей»… Так что «Чеканка» не должна быть выпущена в свет до 1950 года». Но Гарнетту он писал: «Я вольно обращался с именами и уменьшил поименованных персонажей из отряда примерно от пятидесяти до пятнадцати». (Поскольку степень «вольного обращения» неизвестна, в этом издании заменены имена во всех эпизодах, которые могли бы причинить смущение или беспокойство).

Автор изображает себя в то время, когда он был в состоянии нервного истощения, последовавшем за интенсивным и почти непрерывным напряжением во время войны и в битвах за послевоенное урегулирование, написанием «Семи столпов» и переписыванием книги заново после кражи первоначальной рукописи. Иначе того недоедания, которое описано в главе первой, можно было бы избежать; как указывает полковник С. Ф. Ньюкомб, в течение нескольких месяцев перед зачислением он получал достаточно денег, чтобы можно было неплохо прожить, и в последние несколько недель он причинял некоторые неудобства, постоянно отвергая приглашения на обеды и не посещая дома, в которых с радостью был бы принят. Вероятно, годы чрезмерного истощения сказались в том, что, когда

необходимость в деятельности прекратилась, его состояние духа позволяло принимать без нестерпимых усилий лишь негативные решения. Жизнь в рядах войск, где никогда не требуется принятие решений, поэтому казалась ему верным выбором, хотя для человека в таком состоянии ее тяготы невольно увеличивались. Рассказ о них, вряд ли стоит говорить, не был написан как пропаганда, ради облегчения трудностей рекрутов; раньше, чем через шесть лет, после того, как Гарнетт получил полную книгу, никакая часть ее не была показана ни одному офицеру.

В машинописном варианте, сделанном по распоряжению Гарнетта из рукописи, текст появился в нескольких копиях, напечатанных после смерти автора (издательством «Даблдей, Доран и компания», Нью-Йорк, 1936). К концу своей жизни автор пересмотрел книгу в машинописи, скопированной с гарнеттовской и поэтому не совершенно идентичной. Он сделал небольшие поправки практически на каждой странице и кое-где — существенные изменения. Свидетельства, что он планировал дальнейшую правку, крайне ограничены. Он пометил два возможных заглавия для первой части — «Человек естественный» и «Заточение», чтобы заменить «Сырье», и для второй части написал «Молот и наковальня», как альтернативу прежнему заголовку, «На мельнице». И во многих эпизодах он заменил или поправил заглавные буквы, но не смог сохранить это при каждом повторении слова. Настоящее издание следует пересмотренному тексту, без несоответствий и упущений, которое он поправил бы, если бы не случайная гибель. Он действительно собирался напечатать ограниченное издание сам, ручным прессом, и уже приобрел у Эмери Уокера и компании[3] для фронтисписа достаточное количество копий репродукции портрета Огастеса Джона, находящегося в музее Эшмолин.

А.У.Л.

Чеканка

Эдварду Гарнетту

Однажды ночью вам приснилось,

что я пришел к вам с этой книгой

и воскликнул: «Это шедевр. Сожгите ее».

Что ж — как пожелаете

Часть первая
Сырье

1. Вербовочный пункт

Боже, это ужасно. Два часа в нерешительности, взад-вперед по грязной улице, губы, руки, колени дрожат так, что нельзя остановить, сердце колотится от страха перед этой небольшой дверцей, через которую я должен войти, чтобы записаться. Может, посидеть немного на церковном кладбище? Вот в чем дело. Где ближайшая уборная? Ну да, конечно, в подвале церкви. Как там было у Бейкера в рассказе про карниз?

Пенни; осталось пятнадцать. Давай поживей, старый подтиральщик; чаевых все равно не будет, а я спешу. Опередил почти на полголовы. Правый ботинок лопнул по ранту, а брюки внизу лохматятся. Я всегда понимал, что по природе далеко не герой, вот по этому чувству таяния в кишечнике при любой кризисной ситуации. Однако сейчас все будет кончено. Пойду и войду.

* * *

Пока что все идет гладко. С нами говорят вежливо, почти с жалостью. Будьте любезны пройти в кабинет. Подождите, пожалуйста, медосмотра наверху. «Идет!» Влажная пирамида одежды на полу — от того, кто впереди, он грязнее, чем я. Я следующий? Все снять? (Нагими приходим мы в ВВС). Росс? «Да, это я».

Офицеры. Двое.

«Курите?»

Немного, сэр.

«Значит, бросите. Ясно?»

Шесть месяцев назад, вот когда я выкурил свою последнюю сигарету. Но не стоит себя выдавать.

«Нервы, как у кролика». Твердые пальцы врача с шотландским выговором молотят, молотят, молотят по гулкой коробке моих ребер. Должно быть, я пуст внутри.

«Повернитесь: выпрямитесь: станьте вот сюда: вытянитесь, как только можете: ну, не больше, чем пять футов и шесть, Мак: грудная клетка — скажем, тридцать четыре. Размах рук — ух ты, тридцать восемь. Хватит. Теперь прыгните: выше: правую ногу

поднимите: держите так: кашляните: хорошо: встаньте на цыпочки: руки прямо перед собой, пальцы расставить: держите так: повернитесь: нагнитесь. Ого, а это что за отметины? Наказание?» «Нет, сэр, скорее убеждение, я так, сэр, думаю». Лицо, руки, грудь — все горит.

«М-м-м-да-а… теперь понятно все с нервами, — голос его становится мягче. — Не записывай это, Мак. Скажем, «два параллельных шрама на ребрах». Что это, парень?»

Поверхностные ранения, сэр.

«Вы на вопрос отвечайте».

Колючая проволока. Перелезал через заграждение.

«М-м-да… и сколько времени недоедаете?»

(Господи, я и не думал, что он заметит. С апреля я принимаю пищу от своих друзей, сколько посмею, и сколько позволит мне принять стыд. Я иду по пятам за герцогом Йоркским в час обеда, чтобы вернуться с кем-нибудь в его клуб за едой, нужда в которой почти что задушила меня. Ничего, сделаем хорошую мину).

Слегка на мели последние три месяца, сэр. Как горит горло!

«А похоже, что все шесть», — ворчит он в ответ. Чем плохо врать в голом виде — краснеешь сразу весь. Длинная пауза, я позорно дрожу. Он так пристально смотрит, глаза слезятся. (Это мучительно; лучше бы я за это не брался).

Наконец: «Ну ладно, одевайтесь. Не так хороши, как нам нужно, но несколько недель на сборном пункте вас подтянут». Спасибо большое, сэр. «Удачи тебе, парень», — это Мак. Ухмылка от того, с добротой в голосе. Снова овощной рынок, ничего не изменилось. Меня все еще трясет с головы до ног, но все равно, я это сделал. Есть кофейня на этой улице? Я подумываю о том, чтобы промотать шиллинг на кофе. Ближайшие семь лет мне не надо думать, где бы раздобыть еды.

2. Ворота

Наш сержант, подтянутый, в голубой форме без единой складки, медлил, пока мы выходили со двора станции. Военный всегда стесняется отдавать команды тем, кто может его и не послушаться, ведь приказ, которого не замечают, бесчестит предполагаемую власть; а англичане (такие, как они есть) не соглашаются ходить под началом, если к этому не вынуждает их закон или угрожающая им опасность. И вот, небрежно и неубедительно: «Я зайду в эту лавочку на минуту. Вы, ребята, держитесь тут на тропинке, пока не позову», — и он переходит солнечную улицу, чтобы проскользнуть в табачную лавку и обратно. Я думаю, он уже много месяцев каждый день выступает

провожатым; но ему нет необходимости думать о чувствах нас, шестерых, шаркающих за ним. Мы движемся, как во сне.

Эта главная улица старомодного городка лязгает неуклюжими трамваями с табличкой «Шепердсбуш». Вторжение. Мы идем, пока слева не начинают подниматься объявления о земельных участков и тяжелые вязы, которые свешиваются через стену запущенного парка. Отполированный шинами гудрон блестит спереди и сзади этих тенистых зонтов. Вот и ворота, высокие, с кирпичными столбами, верхушки которых увенчаны шарами: и часовой в голубом, с винтовкой. Некоторое время наш отряд подтягивается. Но вот, высоко подняв голову, по противоположному тротуару шагает сержант, глядя прямо перед собой. Каменные плиты звенят под наконечником трости, которую он в них всаживает.

Нагретый на солнце асфальт переходит в пыльный гравий. Шурх-шурх — идет наша расхлябанная толпа через другие ворота. Стены уступают место частоколу и колючей проволоке: далеко в парке видно людей в хаки. Третьи ворота. Сержант проходит через них, направляя нас. Взмахом трости он, как пастух, ведет нашу небольшую толпу мимо часового, который твердо стоит перед будкой. Мы бросаем короткий взгляд на то, что осталось за его штыком — на сияющую дорогу с идущими по ней машинами и свободно гуляющими людьми, в мире, который мы только что покинули.

3. В парке

Нам разрешили ходить где угодно (в пределах ограды) весь этот тихий осенний день. Широкий, весь в облаках, запущенный парк, в который вторгается этот военный лагерь, меня привлек. Вдоль него проходит мягкий изгиб Парк-роуд, единственной настоящей дороги в лагере, выходящей за его границу. Синяя, гладкая, она протянулась между подстриженными газонами, под колонной деревьев.

Середина парка погружается в извилистые берега небольшой речки, а бараки спускаются по уступам сверху, до самой долины, как будто собираются соединить свои крыши через поток, засыпанный листьями — но что-то, может быть, сырая, глубокая трава на лугу в низине, задерживает их.

Я задержался на мосту над стоячей водой речки, которая вьется в лощине между берегами, заросшими камышом и наперстянкой. С каждой стороны были беспорядочно посажены большие деревья. На западном уступе суетились красно-шоколадные футболисты. Неужели я снова буду вовлечен в

футбол? Ходили слухи, что здесь будет это греховное бедствие, принудительные игры. Мяч то и дело мелодично ударялся о сапоги игроков или о твердую землю; и всех играющих обступала шумная ограда из хаки и голубого. Голубая форма, от которой лица казались розовыми, принимала удивительно яркий на вид оттенок на фоне зеленоватой и желтой травы на откосах долины. Завесы темноты собирались над футбольными полями от других крупных деревьев, бросающих от своих крон зеленые тени.

Неповторимая запущенность берегов Пинна казалась тоже запретной для служивых: там, в ивах, пел хор птиц. С высокого шпиля, который черным цветом врезался в небо, на гребне, за узкими крышами лагеря, падал, четверть за четвертью, вестминстерский перезвон трубчатых колоколов. Мягкий речной воздух добавлял этому звону — не эхо, но дополнительную торжественность и сладость — и разносил его далеко, только расстояние казалось меньше, посеребренное медленно наступающим вечером и туманом, собиравшимся с воды. Тяжелый грохот электричек и трамваев за забором подчеркивал намеренную отдаленность множества людей, собранных здесь.

Когда наступило время чая, футболисты устали и наконец прекратили игру. Медленно туман забирался в низины и медленно полз по траве уклона, пока огни лагеря не зажглись прямо в этом туманном море.

4. Страх

После заката дорожки лагеря заполнились людьми, все они казались друзьями и обменивались непостижимыми франкмасонскими приветствиями. Я сторонился их, а также их столовой с ее ярким светом и гостеприимными запахами. Мысль о нашем бараке показалась мне убежищем. Я с радостью направился туда.

Когда я открыл дверь, длинная комната с висячими лампами действительно стала мне убежищем от ночи. Расцветка в ней была веселая: прежде всего, белые стены, разделенные пилястрами красного кирпича или тонкими стропилами, выкрашенными зеленым, они тянулись от бетонного пола между тесными рядами одинаковых кроватей с коричневыми одеялами. Но внутри не было никого, и потолок, казалось, глядит множеством глаз. У меня закружилась голова под этим взглядом, и я споткнулся на дорожке гладкого линолеума, черной тропой лежавшего на бетоне. Может быть, пол слегка ходил ходуном, как палуба? Или это у меня все плыло перед глазами в блестящей тишине, затоплявшей пустое помещение?

Без сил я прилег на выделенную мне кровать. Некоторое время со мной рядом лежал глубокий страх. Круглые лампы глядели не мигая; мои внешние измышления собрались к моей подушке и нашептывали в каждое ухо, что сейчас я пытаюсь предпринять тяжелейшее усилие в своей жизни. Может ли человек, который целые годы был закрыт наглухо, просеивая свое внутреннее «я» мучительное количество раз, чтобы сжать его мельчайшие частицы в переплет книги — может ли он вдруг закончить свою гражданскую войну и жить открытой жизнью, чтобы его мог прочесть кто угодно?

Случайности, достижения и сплетни (скрепленные в равных дозах моими пристрастными друзьями) выстроили мне такую раковину, которая подталкивала меня почти совсем забыть очертания червя, таившегося в ней. И вот я сбросил эту оболочку, все удобства и все, чем я владел, чтобы грубо погрузиться в общество грубых людей и найти себя на оставшиеся годы первозданной жизни. Сейчас страх говорил мне, что ничто из моего настоящего не переживет этого путешествия в неведомое.

Путешествия? Да, эта длинная комната, похожая на трюм, сохраняла резкий запах краски и внушала ощущение, что находишься между палубами. Колонны и затяжки ее темнеющей крыши делили ее на стойла, как на корабле, ожидающем к погрузке скотину. Ожидающем нас.

Мы медленно заходили, те, кто пришел со мной сегодня, пять или шесть, и лежали некоторое время на заправленных кроватях, подавленные незнакомым местом и тишиной; тишиной, которую еще больше подчеркивал слабый шум трамваев, ползущих снаружи по дороге за лагерем. Присутствие друг друга нас незаметно успокаивало.

В десять часов дверь распахнулась, и ворвался поток других, тех стажеров, которые были здесь несколько дней и обрели уже внешнюю уверенность. Они боролись с нервозностью с помощью шума, разговоров, звуков «Суэйни-ривер» на губной гармошке, борьбы и грубых шуток. Между внезапными аккордами какой-нибудь песни выпадали промежутки тишины, когда люди доверительно перешептывались. Потом снова разговоры, деланные смешки над плохой шуткой. Пока они спешно раздевались на ночь, запах тел соперничал с запахом пива и табака. Шутки становились все грубее: стягивание штанов, шлепки жесткими ладонями, неуклюжий бег с препятствиями через кровати, которые наклоняли или разворачивали. Мы, последние из пришедших, содрогались от мысли, как нам придется терпеть эту вольницу, если они решат принять в свою возню нас. Барак, наше убежище, стал нескромным, грубым,

громогласным, немытым.

В десять пятнадцать гасят огни; и с их угасающими вспышками прекращается каждый звук. Тишина и страх вернулись ко мне. Белые окна пересекаются по диагонали светом от наружных ламп, который соперничает с ними в белизне. Внутри все охвачены забытьем первого сна, как зародыши в оболочке плода. Дух мой, наблюдая, медленно и осторожно поднимался, прокрадываясь в этот располосованный воздух, рассеянно изучая тела, вытянутые, как мумии, на узких кроватях. Первым уроком сборного пункта была наша отрешенность от внешней жизни. Эта вторая картина — наша одинаковость, тело к телу. Сколько еще душ скользили той ночью вдоль балок крыши и видели это? Снова моя душа, охваченная внезапной паникой, бежала в гроб своего тела. Любое укрытие лучше, чем пустота.

Тянулась ночь. Спящие, удовлетворив первую усталость, начали неловко ворочаться. Кто-то глухо бормотал в фальшивой жизни сна. Они стонали или медленно перекатывались в кроватях под металлический лязг проволочных матрасов. Если спишь в жесткой кровати, тело не может покоиться без вздохов. Возможно, все физическое существование для человека — усталая боль; только днем его упрямый бодрствующий дух этого не признает.

Всплески шума трамваев на улице в ночи иногда повышались до визга, когда взлетающие колеса скрипели на повороте. Каждый час отмечался стуком по гальке шагов сменяющихся часовых, когда они колонной проходили свой круг мимо наших стен. Их мерная поступь на какое-то время перекрывала шорох пожелтевших листьев крупных каштанов, перестук полночного дождя и недовольный звук капель, падающих с крыши в водосточный желоб.

Две или три таких ночных смены я выдержал, растянувшись на кровати, полностью бодрствуя, с открытыми глазами, снова осознавая себя одним из многих после нескольких лет одиночества. А завтрашний день готовил нам новую (и явно не гладкую) судьбу. «Ну, убить-то нас все равно не убьют», — сказал Кларк за чаем. Может быть, это как раз хуже всего. Многие, не дрогнув, приняли бы смертный приговор, чтобы избежать пожизненного приговора, который судьба держит в другой руке. Когда самолет несется вниз, потеряв управление, команда со страхом вжимается в сиденья, и минуты кажутся годами в ожидании крушения; но этот плавный нырок переносит их в могилу. Только выжившим остается последующая боль.

5. Первый день

Утро прошло, пока мы болтались то здесь, то там, занимаясь разными делами. Завтрак и обед были тошнотворными, но обильными. Без приказаний мы прибрались в бараке. Добрая воля нашей толпы удивила меня: я ожидал угрюмости как реакции после нервных затрат на поступление. Конечно, мы еще дрожим перед будущим и слоняемся вокруг, рассеянно ободряя друг друга, по дюжине раз, теми же бесполезными разговорами. «Пока что не так уж паршиво. Да и не будет так уж паршиво-то, правда?» Хотя по глазам тех, кто проходит сейчас муштру, мы видим, что будет, да еще как. Мы кучкуемся вокруг любого, кто пересказывает нам слухи или собственный опыт.

Испытания и экзамены попеременно продолжаются. Стандарты BBC суровы, даже по сравнению с армией, и многие из нас сталкиваются с трудностями. Наблюдающий офицер посылает тех, кого отвергает, чтобы те отправлялись в какой-нибудь армейский полк. Те, кого допустили, возвращаются в барак и сознаются в своем успехе с добродушным унынием: но втайне они гордятся. Те, кто провалился, показывают свою боязнь и благодарят свою звезду — слишком громко, чтобы убедить нас. В нашем активе — наш смех, наша невинность, наше заискивающее послушание; на другой стороне — неловкая мягкость сержантов и офицеров, когда мы встречаемся с ними. Мне то и дело приходит мысль о пауке и мухах. Вокруг глухой к нам лагерь живет своей жизнью под сигналы труб и колокольный звон, как овцы под звук своих колокольчиков.

Днем меня вызвали, посадили за стол и сказали, чтобы я писал сочинение о месте, где я родился — и которого не видел с тех пор, как мне исполнилось шесть недель! Я сделал то, что сделал бы любой ребенок на моем месте — стал весело импровизировать. «Годится», — сказал лейтенант, ему понравился мой опус.[4] Он препоручил меня лысому офицеру, маленькие глаза которого, должно быть, болели: потому что он снял очки и все время сжимал пальцами веки, морщась, когда задавал мне вопросы. В Лондоне мне сказали, что с формальностями уже покончено, не считая присяги, так что я был застигнут врасплох, и не был готов, переминаясь с ноги на ногу и запинаясь в частях своей истории. Он потерял терпение и рявкнул: «Почему это вы ничего не делали во время войны?»

«Был интернирован, сэр, как вражеский подданный». «Черт возьми, и у вас хватило духу заявиться ко МНЕ — в какой тюрьме вы были?» «Смирна, Турция, сэр». «А-а. Что… что? Как британский подданный? Какого черта было прямо не сказать? Где ваши рекомендации, свидетельство о рождении, об образовании?» «Их держат на Мэри-стрит, сэр. Я думал, что меня там записали».

«Думал он! Слушайте, вы же пытаетесь вступить в ВВС, так что зарубите себе на носу: вам не требуется ни о чем думать, пока вам это не прикажут. Ясно?» После чего его взгляд упал на бумаги в папке, где допуск, о котором я говорил, был четко обозначен. Он устало отмахнулся от меня. «Идите туда, куда все, и не отнимайте у меня время».

Пока мы ждали в коридоре присяги, которая должна была связать нас (ждали мы два часа, достойное введение в жизнь служивых, где сорок-пятьдесят человек могут ждать любого офицера или сержанта столько, сколько ему будет угодно), нас охватывало, чтобы никогда уже не отпустить, внезапное товарищество рядовых — симпатия, рожденная наполовину нашей общей беззащитностью перед властью (а эта власть могла оказаться, как снова мне напомнили, пристрастной), наполовину же — нашим истинным равенством: ибо нет такого равенства на земле, как среди тех, кто в неволе.

Присяге не хватало огня: она разглагольствовала о короле, а, при всем уважении, никто из рядовых сегодня не является роялистом в том смысле, в котором армия короля Георга чувствовала себя истинно королевской. Конечно, мы ощущаем сердцем и душой некую невыраженную преданность; но наш идеал не может иметь две ноги и шляпу. Мы неосознанно растим его в себе, когда идем по улицам или по дорогам нашей страны и осознаем их своими собственными.

Когда все кончилось, на нас снизошел покой. До этих пор мы толкали себя наперекор нашей натуре, наши бессознательные «я» упорно надеялись, что по какой-то случайности нас отвергнут. Это было все равно что умирать смертью. Разум зовет могилу вратами покоя, а инстинкт ее избегает.

Когда мы принесли присягу и завербовались на годы, сержант повел нас строем в казарму. В его голосе появились новые нотки. Мы собрали свое крохотное имущество и переместились в другой барак, отдельно от незаписанных. Капрал с серьезным лицом нас пересчитал. Для начала знакомства он сообщил нам новость, что с этих пор в течение нескольких недель для нас не будет ни отлучек, ни позволения выходить за железные ворота. Мир внезапно отдалился от нас. Наши изумленные глаза глядели сквозь забор на его чужие очертания, удивляясь, что же случилось. Вечером мы заговорили о «гражданке».

6. Мы

Наш барак — истинный микрокосм безработной Англии: но не всей безработной Англии, поскольку строгие стандарты ВВС

отвергают низшие уровни социальной структуры. И все же завербоваться — значит признать свое поражение перед жизнью. Среди сотни людей на службе вы не найдете ни одного цельного и счастливого. У каждого есть изъян, рана открытая или скрытая, в недавней истории. Некоторые из нас не имели ни денег, ни ремесла, и были слишком гордыми, чтобы, ничего не умея, вступать в ряды рабочих. Кто-то провалился на работе и потерял ее. Надрывающие сердце поиски работы (когда каждый день бесцельных блужданий делал их все менее пригодными) привел многих к слабому удовлетворению, что и они «на что-то сгодились». Кто-то погубил свою репутацию и скрывается здесь от стыда или от суда. Другие связались с женщинами, или были отвергнуты женщинами, и мстят своим страдающим существам за дурное обращение общества. Но вслух все мы заявляем о достижениях, богатых родственниках, красочном прошлом.

Мы — это «ребята» и их темная сторона, «тяжелые случаи». А еще — неженки и глупцы: тщеславные: старый солдат, чувствующий себя потерянным вне оков службы: падший офицер, остро чувствующий презрение к нашей грубой компании, но пытающийся быть хорошим и не гордым товарищем. Такой неофит слишком охотно напрашивается на грязную работу, пока опытный платный невольник стоит в сторонке и ворчит.

Нарядные ремесленники, которых то подстегивает, то отпугивает наша профессия, не знающая пределов, целыми днями корпят над испытаниями в своих профессиях, надеясь, что какой-нибудь случай заставит их передумать. Наш кузнец из Глазго, получив однажды к чаю за обедом один хлеб, запорол свою пробную работу и был немедленно вышвырнут вон. Последний день он провел, лопоча безумные неразборчивые исповеди каждому из нас. Унылый это был парень, со следами слез на толстых щеках, и так радовался, что провалился. «Один сухой хлеб», — дрожал он по полчаса, со слезами в голосе. Простодушный, как ребенок, но и упертый, и грязный; чересчур шотландец.

«Отесанные» ученики из Дэвенпорта, пришедшие с бумажной работы, презирают нашу толпу. Они успели уже поработать с людьми в магазинах. Два бармена спят рядом с Бойном, бывшим капитаном Королевского стрелкового полка. Напротив — морской район: флотский телеграфист и два матроса, как они говорят. Возможно, младших матроса. Матросы грязно ругаются и приятны в повседневной жизни. Машинист Большой Западной железной дороги отвергает любую доброту и потягивает пиво в одиночестве. Еще здесь шоферы (читай — водители фургонов), завербовавшиеся, чтобы работать на грузовиках: несколько

шустрых клерков, вздыхающих перед чистилищем муштры, лежащим между ними и их будущими креслами: маленький торговец из Хокстона, бережно хранящий свою банковскую книжку с превышенным кредитом как доказательство лучших дней: фотографы, механики, сломленные люди: толковые ребята из школы, бывшие раньше на побегушках. Большинство — вполне способные, многие стремятся начать новую жизнь, оставив позади свою репутацию. Все радуются, что в кармане звенит монета, и пока что ничего не надо делать.

Люди входят и уходят из нашего барака каждый день, поэтому в нем мелькают меняющиеся лица. Мы начинаем чувствовать себя кочевниками. Никто не смеет сказать: «Вот здесь я буду спать сегодня, и завтра тоже», — потому что мы живем по свистку.

Заводилы среди нас — Китаеза и Моряк. Моряк получил свое краткое прозвище, потому что он больше моряк, чем все флотские здесь, вместе взятые. Проворный, неугомонный, бывший в войну сигнальщиком, подвижный, как ртуть, даже когда (что бывает редко) стоит на месте. Невысокий, но крепко стоящий на ногах, родом из Тайнсайда, он повидал много кораблей и портов, и его можно отнести к «тяжелым случаям». Но добродушие пенится в нем, а навеселе он — сама доброта. Он мастер драться на кулачках. Его голос всегда готов взорваться песней, к нашей радости, потому что даже в его речи есть что-то густое, мурлыкающее, и бесшабашная усмешка таится за самыми серьезными словами. Жизненная сила Моряка сделала его вожаком в бараке за первый же час.

Китаеза, его случайный товарищ, — коренастый разносчик из Кэмбервелла, с выговором театрального кокни. С детства он привык сам бороться за себя и получил много пинков, но не заботился об этом. Он уверен, что безопасность — это жить с городскими волками и по-волчьи выть. Его мертвенно-бледное лицо — гладкое, будто восковое, бесцветные глаза навыкате, кажется, лишены век, как у змеи, и взгляд его неподвижен, поэтому кажется злобным. Он много знает. Когда Моряк заводит тарарам, Китаеза воспроизводит превосходный гавкающий голос, радостно передразнивая тип офицера, с тонкой глубиной подражания. Он всегда председательствует на нашем шутовском трибунале.

Обычно его речь — протяжное рычание, которое настолько же царапает слух, насколько мелодична речь его дружка. Китаеза говорит «fuck» так часто, однообразно вставляя после каждого второго слова, и с таким придыханием произносит «f», что его губы округлились в изгиб, скалясь, как эфы скрипки. Моряк и

Китаеза, двое неукротимых, зачаровывают меня своей непохожестью: потому что, мне кажется, я боюсь жизнерадостности больше, чем чего-либо в этом мире. Моя меланхоличность приближает меня скорее к серьезному, совестливому капралу, которого все недолюбливают за негибкость и за то, что он мало сквернословит. Но он стар, а годы, повторяясь один за другим, высасывают веселье из всякого, у кого много забот.

7. Новая кожа

Ходили слухи, что сегодня мы получим наше снаряжение. После завтрака мы, волнуясь, бродили вокруг, надеясь потерять вместе со старыми костюмами постоянное напоминание, что мы были штатскими: и избежать презрения, которое читаем мы сейчас в глазах тех, кто в форме.

Наконец слухи оказываются верными. В четыре часа мы маршируем на склад и там становимся напротив кучи одежды, которую швыряют в нас шесть потных кладовщиков, в то время как квартирмейстер, вытянувшись за стойкой, зачитывает список. Только все в этом списке поставлено с ног на голову: носки, пары, три… и тому подобное… так что никто не может узнать, что есть что.

Мы взваливали на плечи вещмешки, перекидывали через одно плечо кители и брюки (увы, хаки!), а через другое — голубую форму, цель наших стремлений, и нас, измученных, погнали на обувной склад, где мы перемерили столько обуви, сколько могли выхватить из сотен ботинок, лежащих на полу. Наконец у каждого было по две пары, примерно по ноге, но тяжелые, как баржи, и жесткие, будто чугунные. Сапожник связывал их шнурками, перекинув нам через шею, и теперь мы ковыляли к портным, которые взялись за нас, чтобы отметить мелом, где надо ушить голубые кители. Нагруженные всей остальной многочисленной амуницией, мы направили путь обратно к бараку.

«Живо! — крикнул капрал Эбнер. — Надевайте хаки: конечно, впору, хаки всегда впору, если не сваливается. Всем избавиться от гражданского тряпья до обеда». Сразу же в принимающей казарме все превратились в старьевщиков. Наш барак наполнился старшими летчиками, которые щупали, смотрели, хвалили, поносили, торговались. Несколько оптимистов отправили свои костюмы домой, чтобы надевать на побывку, но большинству из нас кажется, что дом отделен от нас долгими годами, да и побывка — дело неверное. «Обмотки, — настаивал капрал, — в

рабочие часы все должны быть в обмотках». Чуть не плача, мы надевали грубые брюки до колен и оборачивали ногу от ботинка тускло-коричневой обмоткой, пока она не охватывала край брюк над икрой. Потом мы тянули вниз край штанины над замотанной, будто отечной, ногой, чтобы скрыть место соединения. Скрывалось не только место соединения, скрывалась реальность наших ног; было жарко, туго и безобразно, как сбруя, которую носит пехота. Когда мы закончили одеваться, то лишились дара речи, увидев свою неопрятность. Исчез барак, полный нормальных людей, и теперь его заполняли варварского вида тускло-коричневые солдаты.

«Стройся», — это капрал, медленно, почти неохотно. Что еще нас ждет? Мы в беспорядке протопали мимо мясника и портного, и останавливаемся перед дверью парикмахерской. «Первые двое», — и они входят. Торопливый парикмахер, поглядывая на часы, сколько осталось до обеда, проходит ножницами вдоль наших голов. Три взмаха ножниц рвут клочьями волосы на макушке, чтобы они подходили к выщипанной «лесенке» на затылке. «Еще два», — орет помощник парикмахера, рекрут на работах. Сорок минут до сигнала на обед. Успеет? Легко. Оказавшись снова в укрытии барака, мы безмолвно осматривали неприглядную щетину на наших бледных черепах; и это несколько примирило нас с заточением на сборном пункте. Не слишком заманчиво быть посмешищем на улицах.

Хаки здесь — арестантская одежда, часовые у ворот не выпускают тех, кто носит ее. Так что мы заключенные, пока портные не закончат подгонять голубую форму. За нашу короткую жизнь только немногие бывали под замком, и само это ощущение побуждает биться крыльями об решетку. Один сорвиголова затемно проскользнул к портным и принес весточку, что полтинник ускорит дело, и даже шиллинг кое-чем поможет: иначе портные так заняты, что может пройти две недели, пока они справятся. Две недели! Мы здесь уже три дня, и они кажутся вечностью.

День проходит в первых попытках складывать наше снаряжение так, как указывает капрал, чистить дочерна упрямо коричневые ботинки и намазывать коричневую глину (бланко) на снаряжение, которым, в строевом порядке, летчик навьючен, дабы отбить охоту к перемене мест; он не может идти, не таща все свое с собой на спине, как улитка. Из каждого задания мы устраивали кавардак; и в отчаянии спрашивали себя, что случится, если наша команда появится на плацу в таком дилетантском виде. «На плацу! — презрительно хмыкает капрал Эбнер, как будто плац — привилегия небожителей. — Вам сегодня на работы».

8. Офицерская столовая

Шесть часов вечера застают нас, взволнованных, перед первым походом в форме — новые ботинки, фуражки и все такое. Чем опытнее летчик, тем небрежнее у него может выглядеть ободок фуражки. Наши необученные ноги в скрежещущих бриджах и массивных обмотках цепляются друг за друга, как маленькие слонята. Тусклые комбинезоны, которые еще больше деформируют наши очертания — прямо из тюков и все измяты. Вместе с нашей цивильной одеждой исчезли и цивильные манеры сержантов. Указующая трость капитана Лоутона пала, не слишком легко, мне на плечо. «Ты, ты и ты, — отметил он. — В офицерскую столовую. Бегом марш!» Мы развернулись, и дежурный капрал провел нас, как ученых медведей, в дверь, откуда исходил слабый свет.

Наш поводырь вошел, оглянулся и поманил нас внутрь. Перед кухонной плитой стоял денщик в одной рубашке, ирландец, рыжий и здоровый, надевая брюки, чтобы выйти на улицу. Одна нога была заброшена на стул, и он стирал мокрой тряпкой пятно с изношенной до ниток ткани на своем мощном бедре. «Двое туда, — невнятно кинул он, показывая на главную кухню. — А вы двое, мыть посуду». Но опрятный гений буфетной отмахнулся от нас. «На работах? Да пошли они…» — сказал он.

«Жирное, сволочь», — проворчал Рыжий, царапая пятно: потом открыл дверь во двор, откуда шел свет в три огромных окна в коридоре. Их рамы были запачканы следами старого «морозного узора». «Отчистить». Из чулана появились куски кожи, тряпки для пыли, стул без спинки, чтобы вставать на него. Пятна краски были похожи на рыбий клей, и оттереть их можно было только поодиночке, ножом. Рыжий часто проходил мимо, подбодряя нас в этих бесплодных усилиях своим гоготом.

В коридоре у меня за спиной стоял телефон-автомат. Каждый раз, когда раздавался звонок, денщик выходил к нему. Звонили в основном его приятели. Мы слышали обрывки разговоров о «Блэкпуле», о перспективах «Шпор», о «Сандерленде» или о побеждающих лошадях в более старом, но менее ценимом виде спорта. Через двустворчатые двери возникали головы офицеров, чаще — голоса офицеров. Шерри и биттер, джин и биттер, мартини, вермут с джином, вермут. «Три виски с содовой, *живо*», — а это что за знакомый хриплый голос? Офицер, который проводил у меня профессиональные испытания. Бармен наливал бокалы до краев и сновал взад-вперед. Проходя мимо телефонной будки, он быстро тянулся длинной рукой, нагруженной пивом, в ее глубину.

Мы закончили с окнами: но работы должны были длиться до девяти. «Давайте сюда», — позвал Рыжий с набитым ртом, и мы вернулись в буфетную. Стол, накрытый доской (на прочных дубовых ногах) был застелен листами «Стар» с пятнами жира. Бегство греческой армии в заголовках сталкивалось со смертью герцогини Олбени. Повар извлек видавшее виды блюдо с маслом, остатки джема и хлеб — то, что уцелело от перерыва на чай в столовой. «Лопайте». Мы набросились на еду, как волки. Пришли еще два денщика с наваленными до краев тарелками холодного бекона и картофельного салата. Рыжий поливал свою долю уксусом. Они с шумом подцепляли все это лезвием ножа — тонкое искусство. Мы смотрели, как еда исчезает. Принесли три стакана пива и старую колоду карт. Они сняли колоду и начали играть на выпивку. Телефонист присоединился к ним. Снова они сняли колоду. «Проиграл, мать твою», — проворчал он и вышел, но вернулся сияющим. «Бар-то закрыт на хрен». Смех. Рыжий громко рыгнул, пытаясь рукой унять расходившееся брюхо.

Он был слишком переполнен пищей и с отвращением послал разоренную тарелку к нам через стол, усмехаясь. «Жуйте». Мы так и сделали, но все еще выглядели тощими. «Вам, салагам, и тявкнуть не дают, — сказал он с завистью. — Вот вам еще хлебца». Он толстыми кусками порезал хлеб, нагрузил их жирным беконом и промокнул ими стол там, где пролился уксус. Пока мы пользовались этой новой удачей, они все еще говорили о футболе, выпивке и офицерах. «Кто сегодня здесь?» — спросил наш надсмотрщик у телефониста. «Старик», — ответ был достаточным и значительным. Самый последний из новобранцев знает, что «старик» — это комендант, тот флаг с черепом и костями, под которым выходит в плавание весь лагерь. «Сволочь!» — выругался Рыжий. Он поднял крышку мусорного ведра и прицельно плюнул. «Кишки его уж выработались: суп наваристый, как дьявол». Он взял фуражку и ушел.

Час спустя мы проскользнули обратно в барак и были там героями дня, потому что нам было что рассказать, и даже поесть нам дали за работу, в отличие от остальных. Первый отбой: второй отбой. Печальная красота есть в этих ночных сигналах, которые откладывают наши обязанности на восемь часов и дарят нам удовольствие полежать полчаса в кровати перед сном — полчаса, когда расслабленное тело, освободившись от трения одежды и неуклюжих ботинок, вытягивается между гладкими простынями, как ему заблагорассудится. Потом гасят огни — ночное чудо, приносящее темноту и тишину, когда бледная луна правит нашим шумливым бараком.

9. Гимнастика

Капрал Эбнер неожиданно поднял глаза, губы его странно дернулись, может быть, с насмешкой, а может, с жалостью, и сказал: «Завтра на гимнастику; в четверть седьмого». Тени все сгущаются. *Именно этих упражнений я и боюсь. Мое тело сейчас немногого стоит.* Другие бодрятся. «А я рад, что начнут нас муштровать, — сказал Парк, — это из нас лень повыбьет». «Ну да, — вступил Мэдден, всегда готовый следовать за вожаком, — штатские в Лондоне за это по полсотни платят, а нам будет задарма».

На рассвете, натощак (рано утром на кухне есть какао, но если надо идти на гимнастику, нельзя успеть за те пятнадцать минут, что даются на одевание, добежать туда и отстоять очередь) мы строимся перед казармой. Брюки наши перехвачены ремнем, подтяжки перевязаны, и края штанин заправлены в носки. Рукава, разумеется, закатаны, обувь резиновая. Мы маршируем к асфальтированной площадке, гладкая поверхность которой в такие влажные дни становится скользкой, из-за разбросанного по ней гравия. На ней нас, пятьсот человек, расставили открытым порядком. Физическая тренировка основана на постулате, что все мы спим, считаем ворон или симулируем. Это дело внезапности — движения, повороты, выкрики, обманные ходы и остановки. Мы, пятьдесят человек, крепки, как горчица, но в первый день робеем. Многие ошибались, и на них орали во всю глотку, пока они не начинали трястись, превращаясь в легкую добычу. Когда мы спокойны, то видим, как слишком тщательные предосторожности выдают инструкторов. Мы быстро научились встречать их натиск или отвечать на него. «Блефовать или сачковать», — как говорят старослужащие, когда учат нас уловкам, сберегающим силы, принимая как должное, что даже из терпимой работы нам надо сделать самую легкую. Сегодня мы пока что этого не можем; но завтра сможем. Пример заразителен.

«Вольно», — и вот мы, задыхаясь, лежим на кроватях, за десять минут до завтрака. Испарения пота распространяются вокруг от наших мокрых поясов и липких рубашек. Я пропустил завтрак — больно было дышать. После той аварии на «хэндли» в Риме рентген показал, что одно ребро расщепилось, как зубная щетка, в моей грудной клетке: и, когда легкие ходят ходуном, оно каждый раз впивается мне в сердце, будто кинжалом. Когда дрожь прекратилась, я проглотил немного воды из крана в душевой, и стало лучше. Мы втиснулись в комбинезоны и строем отправились на работы.

Трость опустилась, выделив меня и Парка. «К мяснику», — сказал сержант Уокер. *Видимо, этим утром удача отвернулась от меня.* Отвращение к виду, прикосновению и запаху сырого мяса сделало меня почти вегетарианцем. Мясник — молодой капрал, лицо его белое и полное, как пузырь свиного сала, и заляпанный кровью комбинезон пропах его ремеслом. Слава тебе, господи, мы не нужны ему в лавке. Нам надо наполнить и разжечь два бойлера за дверью. Полчаса — и они наполнены водой, которая становится теплой. Он показывает нам у канавы, позади лавки, под изгородью с колючей проволокой, кучи разрезанных мешков, в которых путешествовали к нему замороженные туши. Эти мешки надо помыть.

Видно, они пролежали здесь долго, потому что затвердели и слиплись. Когда мы тянули их, они рвались. Внутри они были полны уховерток, личинок и червей. Парк нашел кол из забора и, как рычагом, тащил им зловонные слои по траве: траве, счастливой с виду, буйной, зеленой, неподстриженной и непокорной, на треугольнике пустыря за мясницкой.

Нам приходилось управляться с каждым мешком отдельно; но влажная земля объединилась против мешков с солью, которой были присыпаны туши, и с брызгами от забора, поэтому ткань сгнила и разваливалась у нас в руках. Поэтому мы одновременно надевали ее куски нашими колами на бойлеры. Вода кипела, и мы гоняли внутри эти мешки, пока они не становились податливыми. Тогда, выуживая их по частям, мы протыкали их сделанными наспех штырями, а они дымились горячим суповым запахом, добавляя свой пар к сегодняшнему туману. Вышел капрал, потирая руки и принюхиваясь к нашему забору, который после двух часов работы пропах затхлым старым джутом. «Молодцы, — сказал он, — а теперь можете все выбрасывать». «Ах ты блядь…» — задохнулся мой напарник, видя тщетный исход наших мучений.

«Непыльная работенка, Парк», — сказал я, чтобы его поддразнить. Парк — водитель в стадии зародыша, который с хвастовством неудачника называет себя бывшим механиком с гонок Брукленда, чтобы позолотить бесславное настоящее отблеском прошлого. Он, по крайней мере, служил в гараже и чувствует себя рабочим и профсоюзником. Всякий рабочий безмерно презирает классы, не знающие никакого ремесла. Так что Парк не мог, как я, найти убежище в иронии по поводу неудачного применения сил в физическом труде. Вместо этого он встал и пошел крыть сборный пункт, и эту работу, и капрала-мясника, и себя, и армию, и флот, и ВВС, пока наши котлы, как рвоту, извергали дым, черными клубами обтекающий наши лица,

в тяжелый воздух. «Потише, Парк, от твоей ругани огонь погаснет». «Да ебал я этот огонь!» — крикнул он, пнув тяжелым ботинком дверь топки. Мясники выглянули, чтобы посмотреть, в чем дело. «Лучше поменяли бы воду, эта что-то пованивает», — с невинным лицом приказал он.

Кипятить мешки пришло ему на ум, чтобы занять каким-нибудь делом тех, кто находится на работах: его ведомство каждый день запрашивает их в штабе, в доказательство того, что его лавка завалена делами. В штабе рады ему удружить, потому что нудная работа укрощает пылкие сердца многочисленных новобранцев, и они стремятся даже на плац, к самой суровой муштре и дисциплине, которая единственно может позволить им покинуть сборный пункт. Раз это сборный пункт, то рекрутов следует гонять. «Мы здесь укрощаем львов», — хвастаются нам инструкторы. Но мы-то и так уже ягнята, и львиный режим тяжел для ягнят.

Капрал делал не больше, чем ему было приказано — давал нам дурацкие задания весь этот дождливый день. Мы таскали галлоны воды и кипятили их с еще большим количеством кокса: и швыряли туда все более мерзкие ошметки мешков, пока в нашей похлебке не было столько же червей, сколько в ткани. И все еще он не был доволен, придираясь к нам, пока мы не начали хлопать дверьми печки, чтобы заглушить его голос, и ворошили огонь так, что искры вылетали из труб. Эвклида, этого труженика на ниве очевидности, вбивают в нежные сердца, чтобы закалить их. Эти работы — физический Эвклид, чтобы мы уяснили себе свою ничтожность. Мы завербовались в надежде, что своими руками можем улучшить что-нибудь и помочь тем, кто сражается с воздушной стихией. Еще один или два таких месяца — и мы примем вердикт Воздушных Сил, что наше время стоит одинаково, работаем ли мы или тратим его попусту. Тогда мы предстанем перед нашими инструкторами чистыми серыми листами, на которых они будут рисовать летчиков с помощью муштры и мгновенного повиновения. Посмотрим, умеют ли ВВС так же строить, как они разрушают.

10. Отбой

Вместе с пронзительной нотой первого сигнала к отбою, в девять тридцать вечера дверь казармы яростно распахивается. Трость цокает по панелям, раздается рев: «Дежурный капрал!» Мы вскакиваем с кроватей на ноги и выстраиваемся в шеренгу до конца барака, с непокрытой головой, замерев по стойке «смирно», в молчании. Капрал ходит вокруг, помечая для рапорта фамилию

над каждой кроватью, не имеющей владельца. Затем мы срываем сапоги, брюки и носки и вольготно вытягиваемся в кроватях, опершись на локоть, чтобы продолжать беседу, которая идет уже несколько вечеров, с соседом в ярде от нас. Болтовня имеет много тем и не всегда похожа на беседу. На двух крайних кроватях двое запоздавших в кофейню набивают рот бутербродами. Рядом с ними Питерс чистит ботинки. Он этим занимается последние полчаса: эти наши новые ботинки непривычны к смазке, а согласно приказу, они должны сиять сейчас же, если не раньше. Так что мы полируем их час за часом, и скоблим их, и отчаянно скребем ручками зубных щеток, и бежим к каждому старослужащему за очередной панацеей — ваксой, или картофельным соком, или огнем, или полиролью, или горячей водой.

На нескольких кроватях рядом собрался ансамбль, поющий хором то «Вековую скалу», а то:

> «Солнце ушло за тобой с нашей улицы,
> Когда ты сказала «прощай».

Каждый в казарме, за исключением меня, без стыда или со стыдом пытается петь, мурлыкать и насвистывать: и самые разные песни слышатся одновременно, пока два или три голоса не подхватывают одну излюбленную, или пока не возьмет верх самый отчетливый ритм. Тогда на минуту у нас появляется ревущий хор, поддерживаемый жестянками из столовой и грохотом ящиков. В бараке всегда есть мелодия. То, под что можно стучать в такт ногой.

Вслед за концертом наш мрачный капрал собирается возвращаться, в неверном свете склоняясь над своими записями. Где-то еще едят: двое, усталые, уже лежат лицом в подушку: а Диксон, в кровати, полностью одетый, лежа навзничь, медленно и обстоятельно декламирует «Старого морехода»[5]. Он побывал в пьяном баре: а много пива всегда вызывает его на «Морехода». Через весь этот гул Моряк и Китаеза, наши чемпионы по ругани, перебрасываются проклятиями через центральную перегородку барака, которая отделяет двадцать шесть кроватей с этой стороны от двадцати шести кроватей с той. Кто-то вдалеке начинает орать «Зеленый глаз желтого бога», и бестрепетно продолжает, хотя дюжина окриков: «Хватит!» осаждает могилу Безумного Кэрью[6].

Второй сигнал отбоя тихо просачивается через окна, исходящие паром; потом сигнал «гасить огни», короткий и резкий. Щелчок выключателя приносит темноту, застигнув врасплох тех, кто засиделся допоздна, одетыми на кроватях.

Смешок и два подавленных ругательства. Раздается громкий голос капрала Эбнера: «Тихо там. Второй раз не предупреждаю», — и становится тихо, не считая перемежающегося шепота, который может быть и шумом ветра в треснутом огне. Я вижу, как гаснет сигарета капрала; еще одна веха на пути к заработанному нами бесчувственному сну. Но что это, его кровать скрипнула! Я поднимаю голову и определяю его местонахождение между мной и белой заплатой на стене. Да, он сидит. Теперь он тихо скользнул ногами через край всхлипнувшей кровати. Брюки все еще на нем. Я скорее чувствую, чем вижу, как он мягко ступает по проходу рядом со мной. После целых минут мертвой тишины в казарме шорох медленных шагов ползет назад по линолеуму, и тень пересекает белую заплату стены. Этой ночью без последствий. Я вытягиваю левую руку, чтобы просигналить «опасность миновала» следующей кровати; он передает сигнал дальше. Шепот треснутой рамы возобновляется.

Луна была полной еще вчера; и еще до полуночи она стоит прямо на уровне верхнего ряда окон. Через этот промежуток она сияет, очень желтая и спокойная, прямо мне в лицо; хотя несколько суетливых облачков сгрудились вокруг нее, как будто не давая нам полностью лицезреть свою королеву. Ее лучи заполняют крышу барака зыбким полусветом, в котором фуражки поверх снаряжения, сваленного на длинной центральной полке, кивают, как китайские болванчики, над затененными кроватями.

Все, попавшее в этот лагерь, одушевленное или неодушевленное, должно приспособиться к прямой линии, которой природа избегает, а человеку не удается поддерживать. Поэтому балки и связки ферм крыши сегодня выглядят футуристично и таинственно, увешанные нашим снаряжением, которое висит там, чтобы высохнуть после чистки. Кровати, конечно, должны сейчас утопать в тишине, под долгим дыханием, собратом безмолвия: но кровати в ВВС такие жесткие, что каждый спящий судорожно ворочается, раз или два в час, и стонет при этом: и так разгорячены наши животы, что не проходит и трех минут, как кто-нибудь из сорока пяти человек в казарме громко пускает ветры. «Вопль заключенного дерьма», — называют его; наш самый верный юмор, который может разрядить напряжение даже в Минуту молчания. Сержанты — и те трясутся от смеха, когда кто-нибудь дает залп: потому что пуканье не подлежит наказанию, в отличие от какого-либо другого ответа. Моряк может пердеть каждые пять минут, неподражаемо, со всей природной силой и вонючестью. Мы ожидаем такого комментария от него, когда кто-нибудь из старших начинает

задаваться.

11. Работы

Работы, работы, работы. Наш дух хотят сломить этой тягомотиной. Один из нас, девяноста новобранцев (а нас уже девяносто) уже вслух жалеет о том, что записался в ВВС. Меньше чем за неделю мы отщелкали три или четыре пожарных караула («Валят, блядь, все на новеньких, вот что они делают, старики-то», — ворчал Таг. «Старый солдат, старый пердун», — процитировал Мэдден со смехом. «Ага, — злобно отозвался Таг, — а молодой солдат — шустрый блядун. Вот это я и есть»), и мусоровоз наш, и сбор мусора тоже, мы вычищаем сортиры, лавку мясника, склад квартирмейстера, казарменные склады, подметаем и вытираем пыль в кино. Еще мы на побегушках в штабе — прежде всего это значит, что мы носим клеркам булочки к одиннадцати часам, пока они еще теплые. Китаеза попал там в немилость. «Стану я рвать себе жопу ради этих пидарасов — я пришел, бля, после двенадцати, и они пихнули меня под суд!»

Он получил в наказание два наряда вне очереди — можно сказать, отделался даром, так как все мы тут, виновные и невиновные, в нарядах безо всякой очереди, топим ли мы в бойлерной или в кухне, или в офицерской столовой, или прибираем бараки, или драим пожарную станцию, или чистим хлев, или кормим мусоросжигательную печь. На рассвете мы вскакиваем с коек, мчимся, чтобы смочить водой руки и лица, строимся на зарядку, разбегаемся и снова строимся на завтрак, надеваем обмотки и комбинезоны, подметаем барак (под оком нашего капрала, который знает нас всех по фамилиям и не упускает ни одного нашего промаха), снова застилаем кровати и строимся на работы. После этого барак не видит нас до перерыва на чай, разве что в поспешные минуты до и после обеда; а после чая — пожарный караул, кроме тех, кто работает в вечернюю смену до девяти в офицерской столовой, или в обеденном зале, или в гражданском бараке.

Последние две работы означают мытье посуды: и не на опрятных мойках с раковинами, губками и горячими кранами. Мы макаем в лохань с холодной водой, пробивая корку жира, четыре-пять сотен кружек, заляпанных чаем, и тысячу тарелок, которые после этого протираем скатанной в комок тряпкой, застывшей в жиру. От запаха выворачивает наизнанку, и от ощущения грязи тоже, и так час за часом: а от ледяной воды дрожат пальцы. Потом гремящая гора мокрых тарелок на столе, и их надо вытереть насухо. Никто не может распоряжаться собой и

считать какую-то работу своей. Лагерь кишит рекрутами, и каждый, кто здесь на постоянной работе — наш хозяин, который вправе получить от нас любую частную услугу, какую сможет. Многие срывают злость на рекрутах, чтобы из страха мы были более сговорчивыми. Старшина подал пример такого дурного использования, когда отвел последнего в шеренге к своей жене в дом, где пристроил красить решетку и присматривать за детьми, пока та ходила по магазинам. «Кусок пирога мне дала, с вареньем», — хвастался Гарнер, почти смирившись с хныканьем ребенка за возможность сунуть что-нибудь в брюхо. Мы вечно голодны.

Те, кто уже прошел шесть недель, встречаясь с нами на работах, потрясают наше нравственное чувство своим наплевательством. «Эх вы, салаги, что ж вы так надрываетесь?» — говорят они. Может быть, это энтузиазм новичков или остатки гражданской жизни? Ведь BBC платит нам за все двадцать четыре часа в день, по полтора пенса в час; платит, когда мы работаем, платит, когда едим, платит, когда спим; вечно капают полупенсовики. Поэтому не стоит оказывать честь работе, делая ее хорошо. Она должна занять так много времени, как только возможно, ведь потом нас ждет не отдых у камина, а следующая работа. Боги позволяют нам остаться в бараке лишь на то время, чтобы вычистить его, а также наше медное, кожаное и тканое снаряжение — и барак наш голый и строгий, чтобы мы не очень стремились в нем задерживаться. Мы проводим дни, задыхаясь в пыльных кабинетах или выполняя лакейские задачи на мерзких кухнях, мчась быстрым шагом туда-сюда, по четыре, через зеленеющую красоту парка и речной долины: топот наших вооруженных ног заглушает трели дроздов и серьезную перекличку грачей в высоких вязах.

12. Подъем

Утром наши кровати объяты сном. Мало кто слышит долгий сигнал подъема, плывущий через лагерь сквозь черное смятение природы перед рассветом. Но капрал Эбнер, успевший долго послужить и еще дольше пожить на свете, уже зашевелился в темноте, натягивая одежду. С первой нотой трубы он втискивается в ботинки. «Все на выход, парни», — резко и угрожающе выкрикивает он, рывками включая свет по нашему проходу с этой стороны перегородки, а потом с той. Мы ворочаемся, тяжелые со сна, и вслепую нашариваем у кровати вчерашние носки. Если бы наше обоняние не было так же приглушено сном, как зрение, мы легко нашли бы эти носки,

скомканные после нескольких прошедших дней использования.

Однако наконец вот они, и мы неохотно опускаем ноги с кровати и впихиваем их в липкие брюки. Теперь из кровати: мы плотно втискиваемся в просторные длиннополые рубашки, опоясываемся вокруг талии, скользим в тапочки. Мы скатываем матрасы и увенчиваем их живописным бутербродом из одеял и простыней, переложенных слоями: если сегодня не суббота, как сейчас, когда каждому выдается одна чистая простыня в обмен на наиболее грязную из двух. Первые двадцать минут утренней поры — напряженная беготня. Только те немногие подают голос, кто уже сбегал в душевую ополоснуться. Один из них сегодня, под холодным неодобрением казармы, попытался спеть о том, каким противным насекомым оказалась его милая пчелка. Но Диксон, сморщив больной лоб, стал умолять его заткнуться. Гимнастика после вечера в пьяном баре — это не шутки.

Однако этим утром нам повезло. Обычно ранние упражнения — больше мучение, чем тренировка; прыщеватые инструкторы по гимнастике, откормленные до того, что их так и распирает от мышц, гоняют нас, как перепуганных овец, по площадке, под зловещим взглядом коменданта-калеки, пока все не станут задыхаться, а малодушные — падать. Сегодня наш василиск отсутствовал, и в этой спокойной атмосфере нас взял главный инструктор, проворный сержант. Он знал настоящие, а не показные упражнения, и мы глубоко дышали, раздувая грудь, и по его команде наклонялись, гнулись и поворачивались, старательно, но быстро. Он стоял перед нами на высоком столе в тонкой куртке, показывая упражнения. Сам он выполнял их от всей души, и, когда нам удавалось успевать за ним, он улыбался и выкрикивал: «Хорошо!»

Эта неожиданность, первая наша похвала на сборном пункте, так нас изумила, что мы работали вдвое упорнее, выжимая все из себя, слишком старательно повторяя его движения. Видя это, он засмеялся и разделил нас на два отряда, чтобы играть в салки, и подразделял обманными приказами. Так делали и другие инструкторы: когда им удавалось нас подловить, они разражались гневом против нашего проступка. Этот сержант отделывался смехом, когда мы ошибались, и тем побуждал нас уследить за ним в следующий раз.

Полчаса прошли в долгом мелькании, пока нас не распустили, и мы понеслись обратно в барак, где повалились на кровати, хватая воздух ртом. Наш энтузиазм вымотал нас больше, чем ежедневная боязнь: но, едва мы смогли снова дышать, раздалось протяжное «ура» во славу сержанта Каннингема. Только слабосильные все еще лежали молча, задыхаясь пересохшими

ртами под этим грузом напряжения. *И мне приходится отнести себя к ним?* До этого года мое ничтожное тело отвечало требованиям жизни. Если оно подведет меня теперь, я его разрушу; но надеюсь, что оно сможет выкарабкаться. Я пытаюсь оправдывать его слабосилие, напоминая себе, что я на восемь лет старше, чем мой сосед, и на пятнадцать — чем многие в этом бараке: но это слабое утешение — вот уже и годы сказываются.

Однако сегодня, несмотря на то, что грудь ходила ходуном, я справился с завтраком и ковылял обратно, когда глаза мои остановились на цинковых крышах лагеря, располагавшихся поперек противоположного склона долины, от гребня, заросшего деревьями, до берега Пинна. Ночная прохлада густо усыпала их росой: и, когда солнце увенчивало гребень и дрожало между бахромой деревьев на плоской стороне крыш, их мокрые ступени серебрились каскадом. На две минуты секция М была очень красива.

Полчаса после завтрака отданы уборке, наведению порядка и неизбежному пению. Пятьдесят из пятидесяти четырех человек в бараке все время поют кто во что горазд. Но может быть и хуже: в моде не больше трех песен, и они короткие. «Пегги О'Нил», «Салли», «Прекрасный город слез»; сентиментальные, плаксивые вещи, где любимые девушки умирают или уходят навсегда. Если Моряк или Диксон заводят такую песню, обычно она берет верх, потому что в голосах этих двоих есть заразительная прелесть. Тогда другие помогают им, в лад или вразнобой: веник подметает, щетки чистят ботинки, даже тряпки, полируя пуговицы, снуют туда-сюда в такт этому хору. На мгновение наш барак и все мы подчинены всеобщему ритму.

13. Тщеславие

С работами нам сегодня повезло так же, как с гимнастикой. В субботу они должны быть только утром, и нас поставили подметать и вытирать пыль в кинозале, после его звездного часа в пятницу вечером, когда сиденья летчиков все в шелухе от ореховых скорлупок и фантиках от ирисок, а ложи офицеров устланы серебряной фольгой от сигарет и шоколада. Простая уборка казалась забавой после нашей низменной недели. Так что мы принялись за нее с песнями, такими громкими, что второй старшина, звезда большой величины, но умеренной яркости, заглянул в дверь и спросил, что мы тут себе думаем: мы в наряде или на концерте?

Зубастый, который стоял ближе всех к двери (немолодой, темнолицый, солдатского вида), огрызнулся в ответ, не зная, кто

перед ним, так как тот стоял против света. «Господи, — воскликнул он потом, — я чуть не обосрался. Это же был сам старый Джим». «Да, — отозвался старшина, который вышел из первой двери лишь затем, чтобы заглянуть в следующую, — и, подходя ближе, — Джим с тобой сурово обойдется, парень. Буду звать тебя Борода». Над Зубом посмеялись — его подбородок действительно был весь черный. Солнечный день увенчивал наше счастье. Разве сегодня у нас не суббота, половинный день; и разве завтра у нас не будет целого воскресенья?

В полдень в казарме хорошие новости. Портные сжалились над нашим заточением и прислали всем брюки и кители. Эти ярко-голубые наряды, валявшиеся на коричневых кроватях, сообщали нашему сборищу цвета горчицы нечто от яркости летнего неба на улице в этот благословенный день. К тому же они обещали свободу выхода за ворота. Мало кто из нас служил раньше или оказывался в неволе. Поэтому мы жаждали простора гражданского мира и вырвались к выходу, как разлетевшиеся дрозды. Некоторые подхватывали девиц прямо у ворот лагеря, подтверждая грубую мужественность, которой славятся военные.

Но перед этим была массовая примерка и невинная похвальба новым платьем, которое будет лучшим для нас на следующие годы. Если мы не будем носить его как следует, часовые могут опознать в нас новобранцев, придет дежурный капрал, и у нас будут проблемы. Под этим предлогом заботы о должном для ВВС внешнем виде мы прячем наше любопытство и соревновательность, а еще желаем выглядеть хорошо в глазах «птиц». Ребята, первый раз надев эту необычную одежду, на ходу расправляли и приглаживали ткань на бедрах, чтобы крылья брюк выпирали наружу. Портные подхватывали их на коленях, по нашей тайной просьбе, так туго, что они охватывали тело и врезались в него. Щеголи вставляют проволоку во внешние швы, чтобы они резче торчали в стороны. Это считается шикарным.

Каждый, кто оделся, краснея, приставал к своей полусекции (таким румяным, по контрасту с высоким воротником и натянутым на глаза козырьком фуражки, становилось знакомое лицо), спрашивая: «Как мой китель? А фуражка, брюки, обмотки — все как положено?» Капрал Эбнер, которого все замучили, поднялся, потянулся за фуражкой и медленно прошел в двери, с улыбкой и с важным видом. Группы людей роились вокруг общих зеркал в каждом конце казармы, наслаждаясь тем, как сидит грудь и карманы. Прошел почти час, пока последний просочился на вольный воздух и оставил в моем распоряжении казарму и зеркала.

Эти одежды слишком тугие. На каждом шагу они охватывают

нас в дюжине мест и напоминают нам о нашем теле. Грубое трение ткани возбуждающе шлифует нашу кожу, и сигналит о том, что мы состоим из плоти, при сгибании каждой мышцы или сухожилия. Они провоцируют сладострастие, настолько выдавая нас. Летчики не могут идти расхлябанно, как штатские, не осознавая того, что они облечены в плоть. Им предписана их осанка, положение головы, туловища, ног, рук, кистей, трости.

Будь проклята эта трость! Это палка из черного тростника с серебряным набалдашником. С таким же успехом можно идти по улице, неся на руках куклу. Согласно приказу, мы должны ее держать в правой руке, между большим и указательным пальцем, по центру тяжести, ободком вперед, пальцы легко и свободно скользят по ней, пока мы идем, чтобы трость всегда оставалась параллельной земле, когда рука движется вперед-назад, на высоте ремня спереди и сзади при каждом шаге, локоть не сгибать, рука идет назад, когда нога идет вперед. *Вот и попробуйте сами!* И помните, что горе нам, если мы отступим от этих правил. Любой сержант или офицер, будь он в форме или в штатском, если увидит непорядок, обязан записать наши фамилии. То, что порядочные люди игнорируют эту обязанность, вредит дисциплине, а нам помогает не очень: ведь на каждой станции ВВС есть свои изгои, военная полиция, которым предписано докладывать о подобных мелочных проступках.

14. Выходной

Редкая привилегия — половинный день — заставляет меня волноваться, как бы не упустить какой-нибудь клочок из его удовольствия. Я снова забрел в парк, чтобы почувствовать его увядающую красоту: но это чувство было уже не таким острым. Мое теперешнее родство с обитателями в форме склонило мой глаз извлекать более длительное удовольствие из группы парней в голубом, которые лежали, растянувшись, и играли на траве, чем даже из зелени дикой травы. Я приглядывался, такие ли очертания у их брюк, как у наших: и мое настороженное ухо находило их радостную брань более подходящей, чем щебет птиц.

Подошло время чая, и я пропустил его, упиваясь тем, что заставляю трубу звучать для меня понапрасну. Паек у нас обильный, трудовой, неаппетитный из-за одинаковости вида и вкуса. Поэтому меня захватила тоска по неофициальной пище. В моем кармане лежал недельный заработок. Пойду в столовую и буду наслаждаться.

Дни уже стали такими короткими, что зажгли огни: и длинная стена окон столовой в сумерках была великолепной. В небольшом пьяном баре была дюжина летчиков, с комфортом выпивающих. Только дюжина. ВВС вне службы жаждут еды, а не выпивки.

Я вошел в трезвый бар и протолкался через его тонкую дверь, где свободно висящая задвижка щелкнула позади меня дважды или трижды с нервной поспешностью нерешительности. Огромная комната освещена была неярко. За стойкой, протянувшейся вдоль ближней стороны, стоял ряд девушек в форме, из обслуги. Вдоль дальней стороны тянулся ряд бильярдных столов, на зеленом сукне которого стояли конусы желтого света от затененных шаровидных ламп, нависающих над ними. Люди в тусклой одежде беспокойно двигались вокруг каждого стола под щелканье шаров. Когда они наклонялись вперед, чтобы играть, их пуговицы светились, и сияние ламп выхватывало их белые лица, как множество масок на фоне затененных стен. Из полумрака смутно доносился резкий стук подкованных форменных ботинок по линолеуму или свистящий шорох резиновых гимнастических тапочек. Эти звуки да звяканье толстых чашек о толстые блюдца вбрасывались, как кастаньеты, в общий фон приглушенной беседы.

Я занял место в очереди у стойки: люди то входили, то выходили, и их лица, несмотря на общую похожесть летчиков (профессиональная метка, общая даже здесь, вне службы, в их

собственном доме, когда никто их не фиксирует) светились новой живостью, подвижностью глаз и заинтересованностью в текущих делах: эти дела касались в основном пищи. Чай и булочки, сосиски и пюре. Они что, всегда способны есть?

Я, во всяком случае, могу. Девушка в голубом комбинезоне передала мне наполненную тарелку с улыбкой и веселым словом, которое было мимолетной обыденностью для этих загруженных работой подавальщиц. Пища была дешевая и самая простая: но не хуже, чем та, к которой привыкли мы в жизни. Притягательна сама возможность выбирать. На службе атрофируется способность что-то делать добровольно, и только здесь мы покупаем, платя из своего кармана, то, что «столовка» дает нам даром. Но ведь жидкий чай вкуснее из чашки, чем из кружки… и так далее.

Для меня это место сулило еще и такую редкость, как обособленный стол; один из той колонии столов на четверых, которые были размещены в шахматном порядке на середине комнаты. Хлопчатобумажные скатерти на них были заляпаны следами пищи, усыпаны старыми крошками и загромождены использованными тарелками и чашками моих предшественников. Неважно: по крайней мере, половина из них были свободны. Я расчистил место для своей ноши и сел, чтобы вкусить уединение после двух недель в толпе. Отчасти я предпринял это усилие для того, чтобы вернуться в тот мир, из которого долгие одинокие размышления устранили меня: как раз сейчас я проходил первое, самое трудное упражнение в этом: короткий промежуток мечтательной тишины был облегчением, но не избавлением.

По стенам висели раскрашенные фотографии короля Георга, Тренчарда, Битти, Хейга[7], каких-то деревенских девушек, миноносца на полном ходу. Там даже было мое небольшое фото, позже ловко препровожденное в вечно открытую печь. С окруженных мраком ферм высокой крыши беспокойно хлопали и другие пыльные реликвии военного времени: хлопчатобумажные флаги недавних союзников. За спиной у меня заиграло пианино. Оно запиналось на некоторых нотах, и, когда я напряженно прислушивался, пытаясь определить моим несовершенным слухом, на каких именно, пришлось снова очнуться, когда я еще толком не забылся. В этом отношении ключевой нотой в пределах слышимости было беспокойство. Десять минут я медленно прогуливался взад-вперед по нему, как другие, тоже, как и они, не зная, куда себя девать.

Кто-то временно справлялся с этим чувством, заводя танцы на клочке пространства у пианино: танцевали под все, что играл кто-то, одетый в голубое. Он не был мастером, и струны пианино давно разладились от слишком сильных ударов. Правда, что-то

есть печальное в зрелище двадцати пар мужчин, кружащихся рядом? Теперь они, большинство из них, будут лишены женщин на семь лет. Лица их были мрачными. Для них танцы были церемонией; и эта замкнутая танцплощадка отвечала их вкусу. Они веселились, когда сталкивались — но с такой солидностью. Не было общего смеха ни там, ни где-нибудь еще в зале: никто не повышал голос в этих приливах и отливах: только вежливость друг к другу и ответная вежливость к быстроглазым подавальщицам. Мы весь день получаем грубую речь от сержантов и капралов: и то, что мы пока еще страдаем от этого, побуждает нас с радостью продлевать публичную вежливость самим, когда это разрешено.

Ночь обращалась в туман: и наш барак был еще пустым. Такое раннее возвращение не в правилах выходного дня. Но барак был теперь для меня дружественным, знакомым местом, а моя кровать — домом. Там тишина, которая избегала меня в столовой, ждала или возвращалась, пока я лежал, со стыдом вспоминая, каким ужасом встречал тот я же час в первую ночь на сборном пункте, когда так страшился того, что другие могли со мной сделать. Застенчивость среди людей была теперь раз и навсегда пройдена, всего после четырнадцати дней; долгих дней: но моя душа, которой вечно требуется какой-нибудь страх, чтобы приправить свое существование, задавалась вопросом, что же сделают целых семь лет служения с опрометчивым своеволием, которое до настоящего времени служило опорой моим ценностям. Вопрос принял оттенок жалости к себе, и слезы мои тихо капали, в тишине белых стен, под минорный аккомпанемент оркестра из кино, который, проходя через два здания и сто ярдов воздуха, был едва слышен. *Видимо, должен был начаться дождь*. В сигнале трубы была почти прозрачная красота.

Стали возвращаться с улицы остальные. Животный жар, дымясь, струился с их сырых одежд, вместе со сладковатым, насыщенным запахом овечьей шерсти в октябрьский вечер. Волоски на кудрявом ворсе их кителей были усыпаны первыми каплями ночного дождя. Те, кто задержался, промокли до черноты. У летчиков первыми промокают колени, потому что с краев шинелей влага капает туда: и натянутая ткань над местом соединения пропитывается водой мгновенно. Служивым приходится тяжело, когда их одежда промокает. У нас нет огня, чтобы ее просушить: а днем все, мокрое или сухое, должно быть свернуто согласно образцу. Так что может понадобиться неделя ночных проветриваний, чтобы привести одежду в порядок.

Кок, бывший моряк, ввалился в дверь. Его дружки сразу же взяли его под опеку. Один поспешил расстелить его кровать, пока

другой усадил его на скамью и раздел. Вместе они подхватили его: по очереди держали тазик, когда его рвало. Кто-то посмеялся над его положением, но старшие осадили их, сказав: «Бедолага, набрался под завязку». Чувство было такое, что один из нас оказался в беде. Джеймс, наш молодой и очень горделивый сварщик, фыркнул с безжалостностью еще не падшего: «Не хрена же было пить, если меры не знаешь». «Подожди, — сердито сказал Питерс, — когда подрастешь маленько, и мужчина тебя угостит выпивкой».

Пока я лежал, дремля, обрывки субботних бесед выкрикивались сквозь гвалт вокруг моего лежбища, с трех сторон осаждая мои уши. «Джок сегодня принял на грудь в пьяном баре». «Брехня: бармен только тряхнул своим фартуком, и он уполз на карачках». «Они делают обводку и передачу одним движением». «Ей-богу, я и вполовину не хотел: она сама, честно». «Он клялся, что держался на шерри и битере всю ночь, а было-то всего двадцать минут седьмого, и чертов бар до шести не открывался». «Глаза у нее вот такие, как у рыбины: досталось от нее моей заднице». «У самого шикарного были белые туфли, и белые брюки из фланели, и голубой китель. Знаешь, он чертовски здорово выглядел». «Если мы тут с приветом, то они там, в Регби, и вовсе ебанутые». «А как брошки теряли? Конферансье говорит: «Внимание! Кто-нибудь из дам потерял брошь?» И все девки хватаются за сиськи». «Стоук славится своими закидонами». «Да шести задрипанных городишек не хватит, чтобы вышел наш город». «А одна змеючка была в платье с низким вырезом и плясала шимми».

Самопальный трибунал, в нескольких кроватях от меня, призвал всех к вниманию, так громко он проходил. Густой голос Моряка, отшлифованный пивом, падал и поднимался попеременно с рычанием Китаезы. Дылду обвиняли в онанизме. «Ездить на дельфине», как называл это Моряк, вдаваясь в морские термины. Капрал Эбнер передвинул две кровати, чтобы вмешаться, если партии перейдут к демонстрации силы: но все, к счастью, закончилось пьяным смехом. Опьянение иногда развязывает плоть, как ночной кошмар изгоняет мысль.

Снаружи в темноте вступил в свои права дождь. Самые ближние колонны дождевых капель набросились на простертую под ними землю и загоняли все живое в укрытие. Наконец раздался сигнал гасить огни, которого давно ждал мой слух. Молчание стерло этот ужасающий гам и оставило лишь шум дождя, который уже властвовал снаружи и теперь завладел темным бараком. Луны не было, только фонарь сиял через окна, очерчивая, как карандашом, лучами света балки крыши и

виселицы стропил над головой. Совсем поздно ночью я снова проснулся, потому что по окнам хлестал шквальный ветер. Он расчистил половину неба и обнажил лунный диск, колеблющийся через покрытые мокрой пленкой стекла.

15. Церковь

После субботнего вечера — воскресенье. Только тот, кто на службе, способен услышать вздох облегчения в этом слове «воскресенье». Летчики засыпают накануне вечером, чувствуя впереди неистощимое богатство свободного времени. Может быть, мы даже сможем пролежать в кровати все завтрашнее утро. Но с дневным светом это сияние отчасти рассеивается. Голубая форма делает нас пригодными для похода в церковь, а этот поход имеет репутацию самой свирепой инспекции за неделю. Ведь на сборном пункте тренируют и офицеров. Разве мы не слышим, как Стиффи, толстый инструктор по строевой подготовке и шпрехшталмейстер нашего цирка, распекает их перед всем плацем за промахи в поведении или командовании? И разве по воскресеньям он не распределяет между ними отдельные задания? Одному найти столько-то нечищеных ботинок: другому докладывать о тех, у кого кокарда на фуражке слишком низко или слишком высоко (за три недели нам пришлось дважды менять кокарды по приказу), еще один изучает подбородки и записывает фамилии тех, кто зарос щетиной. Им обучение, нам наказание. Скажете, последнего проступка избежать легко? Только не тогда, когда бреешься в неосвещенной душевой, на сквозняке, без зеркала, холодной водой, в шесть утра, и когда дюжина парней толчется за твое место у раковины.

После этих предчувствий сам поход прошел вроде бы легко. Шел такой дождь, что мы завернулись в просторные шинели, штыки свисают у левого бедра (как же на богослужение без штыка?), и дурацкая трость в правой руке. Многие из нас прежде никогда не ходили в церковь строем. Нас разделили на отряды, временно названные «звенья», и провели вниз по Хай-стрит, подкованные ботинки шаркали, скользили и звякали на грязной брусчатке. Никто и мечтать не мог о том, чтобы держать шаг. Офицеры были незнакомы с нами и стеснялись повышать голос на публике, чтобы перекричать оркестр, шум машин и проливной дождь. Приказы передавались по шеренге из уст в уста. Ужасно, когда тебя гонят, будто скот на рынок, а все вдоль тротуара на это глазеют.

Множество раз реставрированная церковь четырнадцатого века наполнилась на три четверти нашими голубыми волнами, в

которых наши странные подвижные головы свободно болтались над спинками скамей. Подвижные — потому что глаза не были больше прикованы к прямой линии, и странные — по цвету и очертаниям: все фуражки были сняты, и прежде нас никогда так не выдавали, как сейчас, в церкви. Головы рекрутов обкарнывают до крови, и черепа их бледно-розового цвета. Даже старшим приходится носить свиную щетину, как у нас, на шее: но на макушке их волосы очень длинные и плотно прилизаны к черепу, чтобы незаметно ложиться под фуражкой. Летчик рискнет любым наказанием, лишь бы не оболваниваться, как армейские. В оправдание мы заявляем: разве ВВС — не Волосатые Воздушные Силы?

Клирикам мы, должно быть, казались многообещающими слушателями, ведь наши уши, красные от дождя, торчали, очень большие и развесистые, под бороздой, врытой в кожу головы тугим ободком фуражки. Но головы, похожие на пули, и шеи под тугими воротниками обнаруживали также грубость, которая явно устрашала слуг Господних. Большинство из них каждым словом своим показывает, что мы отъявленные грешники.

Этот священник был слабым, с сиплым голосом, ученое лицо его омрачилось, когда наша фаланга мощно грянула первый гимн: «Рано утром взлетит к тебе песнь моя»[8]. Слишком уж рано подняли нас этим утром. Побудка, как обычно: погода — мрачная изморось: гимнастики нет: завтрак на час позже. Нам пришлось неестественно убивать этот час без дела, выпуская воздух из наших пучившихся животов, в молчании, без единого слова. Песенки, которые обычно задают ритм в час чистки снаряжения и подметания, сегодня застыли у нас на губах. Некоторые даже не подметали.

Со скамьи позади меня звучал густой тайнсайдский бас Моряка, который сейчас бросал корону золотую в хрустальную волну, с тем же бурным чувством, с каким вчера выводил:

> Шла первой боцмана жена, одета в ситец белый,
> И у нее в пизде торчал моторный катер целый,
> Да, парни, катер, и еще команда вся при нем,
> И даже летчиков отряд вместился там потом!

— вместе:

> Да, трам-парам-парам,
> А с пизды волосня свисала, сэр —
> Она
> Была

Из наших старых добрых шлюх!

За нею канонирша шла, одета в шелк лиловый,
И у нее в пизде был ствол двенадцатифунтовый,
Да, парни, пушка там была, и вместе с ней расчет,
И целый оружейный склад вместился там еще!

За нею капитанша шла, одета в бархат красный,
И у нее…

Смешок, даже сейчас таившийся в горле Моряка, нарисовал в моем воображении забавную картину груды измятых корон, валяющихся в раю после того, как святых отпускают с наряда на пастырские работы.

Мы сели, чтобы молиться, и испарения сырой шерсти и пота окружили нас. Несомненно, мы опустились до плотского уровня. Передо мной стоял алтарь, квадрифольная панель которого скалилась мне в лицо средневековой рожей с округленным ртом и высунутым языком. Ее непристойность каким-то образом соответствовала нашим высунутым наружу головам тюремного цвета: а падре тем временем читал проповедь из святого Павла, разглагольствуя о столкновении тела и духа и о нашем долге бороться с многочисленными телесными грехами. Каталог этих грехов побудил нас загибать грязные пальцы, запоминая, какие еще из них осталось нам освоить. Прочего мы попросту не разумели. Наши рядовые слишком здоровы, чтобы ухватить эту нездоровую греческую антитезу плоти и духа. Нерассуждающая жизнь — это гармония, хотя и ни в малейшей степени не христианская.

Еще несколько ободряющих гимнов, а затем проповедь о молитве: этом извержении, как он сказал, души, восторженно трудящейся в муках и радостях во имя Божие. Ничего подобного. Я вспомнил, как Кок прошлым вечером запнулся и упал у моей кровати, и как, задыхаясь, трижды взмолился: «Ебни меня, Господи», под хихиканье всей казармы. Вот так мы молимся. Падре, не ведая о нашей жизни, не ведал и о нашем языке. Духовно мы были глухи друг к другу: в то время как вокруг струились изысканные каденции тюдоровского молитвенника: проза, слишком хорошая для этого священника и слишком хорошая для нас. Поколения назад бедняки воспитывались на Библии и молитвеннике, и пользовались теми же золотыми ритмами в своей речи. Теперь на каждый день у них есть рубленая, как регтайм, проза; а для эмоциональных моментов —

мелодраматические фразы киношных титров. Для моих ушей это кажется натянутой литературщиной: но они пропитались ими до костей за годы хождения в кино.

Наконец мы покончили со всем этим и быстро зашагали домой, вверх по улице, до плаца, готовые к тому, чтобы нас распустили. Увы, нас ждало потрясение. Там стоял хмурый увечный комендант, о чьем мужестве, скрепя сердце, можно сказать с одобрением: но в нем не было никаких человеческих чувств к летчикам. Он приказал, чтобы наш парад прошел мимо него медленным шагом. Ни один офицер не осмеливался заговорить с ним первым: так что даже стойкий Стиффи не мог сказать ему, что мы — новобранцы, еще не размещенные по отрядам и не начавшие проходить строевую подготовку. Более старшие летчики в первых рядах повели движение. Каждое звено подражало тому, что шло впереди: поэтому образцы быстро ухудшались. Офицеры не знали, какие приказы отдавать. Звено мешалось со звеном, шеренги с колоннами, крест-накрест. Кто-то равнялся направо, кто-то налево. Звеньевые, не способные определить, где наводящий фланг, метались то в одну сторону, то в другую, как зайцы.

Наши явно зашли слишком далеко вперед: кто-то развернул нас, повел назад, и мы маршировали, пока не врезались в ряды звена 9. У нашего офицера был писклявый голос; так что самые дальние неизбежно повиновались мощному реву офицера из звена в тылу. Вдруг мы разделились на две колонны: неправильно: надо было на четыре, и мы снова развернулись. За нами судорожно повторяли остальные. Сутолока стала такой тесной, что мы могли двигаться только шаг за шагом. Нахальный дирижер оркестра откликнулся на происходящее траурным маршем Шопена. «Саул»[9] подошел бы больше, но играть его вне похорон есть служебный проступок. По этим же правилам не положено цитировать «Томми тут и Томми там»[10] в бараках.

Комендант был уничтожен. Движением руки он передал наш водоворот Стиффи, доковылял до машины и удалился. Над нашими головами раздался самый мощный голос в моей жизни — вопль Стиффи: «Королевские Военно-Воздушные Силы, по казармам — МАРШ!» Таким же образом нас отпускали с гимнастики. «Когда я говорю «МАРШ», — учил нас сержант Каннингем, — ваши ноги не касаются земли. Вы летите». Поэтому толпа рассеялась, как будто в середине произошел взрыв, и через минуту плац был пуст, но в бараках раздавались залпы смеха.

Только наш Питерс, высокий, с военной выправкой, которого поставили держать знамя позади коменданта, злился. «Большего бардака в жизни не видел. Стиффи ржал, как сволочь последняя.

Если бы наши видели это, они бы сдохли. Я потерял последнее уважение к Военно-Воздушным Силам. И знамя хреновое — тряпка на палке. У нас было шелковое, с медалями. Никого в этом сборище нет из таких, что зовутся «орда комбатов»[11].

Питерс стоял от нас несколько в стороне. Его совершенство в строевой подготовке и солдатский опыт (плоды двух лет в пехоте, о которых он умалчивал) вселяло в него самодовольство, когда он видел свою умелость на фоне нашей неловкости. А еще он однажды получил пакет — что-то съестное — и оставил все себе. Кто после этого стал бы ему доверять?

Капрал Эбнер предупредил нас, что сержант-дневальный прочесывает казармы в поисках людей для пожарного караула. Так что мы проскользнули через заднюю дверь барака (которая выходила на траву) и напротив, к неопрятной, дружелюбной столовой ХАМЛ[12]. Там мы сидели, разговаривали, смеялись, пили чай и ели булочки, ожидая обеда.

16. Столовка

Обеденный зал (по-нашему столовка) — широкий зал с полом из гулкого цемента, по которому скамьи и столы с железными ножками тащат с громовым звуком. Шум заполняет его стены во время приема пищи, когда мы набиваемся туда, по двенадцать за столом, и все глухо разговаривают с набитыми ртами. Шум железных подносов: шум от тех, кто управляется с тяжелыми черпаками. Те, кто последними пришли за каждый стол, должны последними принести жратву с кухни (отсек в стороне от центральной части) и разложить по тарелкам. Так что места за столами занимают на бегу, люди проталкиваются, чтобы избежать незавидных последних мест. Гвозди в их ботинках визжат, как рвущийся шелк или мокрый пол: острый звук, который дополняет скрип какого-нибудь ножа или вилки по тарелке.

Через этот основной шум прорывается внезапный свисток дежурного сержанта, чтобы доложить о сегодняшнем офицере. Если это приличные люди, они входят с фуражкой в руке: если старые солдаты, то вваливаются, как на улицу. Последний за каждым столом, мимо которого они проходят, должен вскочить на ноги, рявкнуть «жалоб нет, сэр» и свалиться, как подстреленный кролик. Дольше он стоять не может, потому что скамья врезается ему под колени: так что это волнообразное движение и отрывистый огонь слов сопровождают их продвижение. Жалоб никогда нет: мы, может быть, и новобранцы, но первый закон безопасности нам известен. Только быстрая работа ножом, вилкой и ложкой продолжается, пока тарелка не

опустеет, и тогда ее споласкивают порцией воды в одной из четырех кружек на столике. Мясо приходит в одной банке, овощи в другой: а в третьей зачастую пудинг.

Дележ настолько честный, насколько позволяет спешка и любительское суждение: хотя ангел-надзиратель, записав нашу беседу, так бы не подумал. Мы претендуем на самое низкое мнение о честности наших вышестоящих лиц. Если маргарина не хватает, значит, повар его придержал, или Министерство авиации экономит на нашем пайке. Печенье (не съедобное печенье, а железный паек) выдается вместо хлеба к чаю в пятницу — так это потому, что нам платят по пятницам, и Министерство авиации хочет, чтобы наш голод опустошил наши карманы уже в столовой.

Мы ворчим на пищу, и она нам скоро надоедает. Если у нас есть сколько-нибудь денег, мы чаще всего привередливо отвергаем ее и идем покупать практически то же самое в баре. Атмосфера столовки настроена против любой положительной оценки ее блюд, и запрещает наслаждение любым вкусом, кроме ее собственного. Зайти в это гулкое место между приемами пищи отвратительно. Сырой мрак прихватывает горло и нос напоминанием о готовящемся мясе.

Иногда власти, подозревая, что наша диета монотонна, приказывают поварам сотворить что-нибудь новенькое. Боже, спаси летчиков своих! Лосось в банках и жареный лук, вот что дали нам однажды на завтрак. «Черт! — закричал Китаеза. — А потом нас накормят улитками и кресс-салатом, мать их». В другой раз: «Картошка на ужин: да пошла она», — сказал Хокстон с отвращением. Он уже съел свою вечернюю порцию картошки с рыбой из буфета. Рабочий не любит того, что не пробовал. Но под конец ужина Хокстон, вытирая рот, сказал: «Ну, не так уж паршиво», — самая высокая похвала от служивых. Желудки соглашаются лишь на одном пункте: что бекон и яйца — самый сытный завтрак в мире. Дайте на стол двенадцать похожих на штыри ломтей бекона, вымоченных в рассоле, и банку несвежих яиц, шумно плюхнутых в жир, который полчаса назад был маслом для жарки — и двенадцать человек выйдут из столовки сытыми и довольными, нахваливая офицера столовой. Хороший тон — это яйца и бекон.

17. Капрал Эбнер

После воскресного обеда некоторые засыпают. Это самое худшее, когда живешь в спальне, где отдохнуть можно только на кровати. «Со службы — и в койку», — говорят старики, этот презренный тип мозга, пропитанного рутиной. Не то чтобы кто-то

из нас спешил набираться ума. Многие летчики прошли школу и были любопытны. Так, Хордер два дня назад взял у меня почитать Лафорга[13] и лукаво усмехался над его реставрированными остротами: но счастье на службе и (что еще важнее) товарищество обрекают нас на поверхностную жизнь.

Золотистая дымка смеха — даже если это глупый смех — витает над нашим бараком. Перетряхните вместе пятьдесят с небольшим ребят, чужаков, собранных со всех классов общества, в тесной комнате, в течение двадцати дней: подвергните их незнакомой, пристрастной дисциплине: загоняйте их грязными, бессмысленными, ненужными и все же тяжелыми работами… но пока что никто из нас не сказал другому резкого слова. Такая вольность тела и духа, такая активная энергия, чистота и добродушие вряд ли сохранились бы в каких-нибудь других условиях, кроме общего рабства.

Все больше и больше я чувствую, что казарма проникается своим спокойствием от нашего капрала, которому личных качеств не занимать. Серьезная задумчивость этого человека задает тон. Сначала он вел себя мягко, увещевающе, почти по-отцовски. Со временем он стал жестче: и те из нас, кто помоложе, отвергая (или желая испробовать) свои удила, сердито брыкались. Нас привели сюда врожденные порывы, и мы предлагаем ВВС все лучшее, что в нас есть. Поэтому резкость команд и профессиональная суровость нас коробит. К концу представления шпоры будут казаться нам более заслуженными. Но я подозреваю, что капрал Эбнер прав, закаляя нас так рано. Внутри такой крупной службы не может все быть хорошо. Мы здесь — верховые животные; и среди наших офицеров и сержантов будут попадаться плохие седоки. Мы должны приобрести бесстрастность, чтобы держаться, и слишком любить нашу работу, чтобы позволять ей страдать, как бы они ни обращались с нами и как бы ни наказывали нас, по своему невежеству. ВВС больше самих себя.

Эбнер показал себя настоящим мужчиной: но всегда был несколько грустным и тихим. Я всегда ненавидел шум и был благодарен, что он не рявкает, притворяясь старшиной; и подозревал, что он недолюбливает многое из того, что заставляет нас проходить, сознавая тщетность большей части распорядка. Режим слишком часто — легкий путь экономить на мыслях. К тому же он терпел от властей выволочки за наши недостатки. Нас не могли хорошо обучать, потому что на весь день разбрасывали по работам. Мы были слишком сырыми, чтобы группироваться, слишком независимыми, чтобы скромно спрашивать, слишком невежественными, чтобы знать, чему нам учиться. Мы были более чем довольны, даже гордились, если продержались целый день и

уцелели.

Поэтому Эбнер не мог надеяться достигнуть с нами больших успехов. Он был вежливым в ответ на откровенные расспросы, сардоническим с легкомысленными, резким с робкими. Он требовал быстрого повиновения любому приказу (когда наконец заставлял себя отдать его) и угрожал тем, кто мешкал. Непокорным? Таких пока нет; мы завербовались, чтобы служить: но многие недостаточно заботились о мелочах и были еще бойкими. Наконец, после пяти недель терпения, он отправил четырнадцать из нас к старшине за неопрятное снаряжение. Наказанием каждому был пожарный караул вне очереди: это мелочь, а он терпел долго: но они его за это возненавидели.

Будь у него чувство юмора или вкус к сальностям, мы бы сходились с ним лучше. Но Эбнер был вечно серьезен. «Кто забыл поставить ботинки у кровати?» — спросил он однажды утром. Узнав свою собственную койку, он лишь мрачно прошел мимо. Трудно, конечно же, немолодому человеку квартировать неделю за неделей в таком обезьяннике, как у нас. Ему не о чем было с нами разговаривать, но однажды днем за ним зашли двое друзей, и он отвел их в столовую и развлекал до отбоя. Ходят слухи, что он допился до поросячьего визга прошлым годом в Хендоне, на показательном вечере, когда отвечал там за очистку палаток с прохладительными напитками. Мы надеемся, что так оно и было, и повторяем эту историю, чтобы убедить себя.

У Эбнера было твердое лицо с узкой, как у танка, челюстью, ровными бровями и широким, низким лбом. Взгляд его был прямым и вселял беспокойство, потому что глаза его были на удивление глубоко посажены, а нижняя челюсть — весьма тяжелая челюсть — слегка выдавалась вперед. Поэтому его разделенные губы, казалось, готовы были улыбнуться или заговорить. Это придавало ему настороженный вид: но слова его всегда были серьезными, и я всегда подозревал, что улыбка его не лишена жалости.

Он был мастером по части солдатского дела, обмундирования, снаряжения. Никто из нас не мог за полчаса заправить кровать так, как он за три минуты. Но всегда в нем присутствовало это пуританское избегание хвастовства. Он, казалось, почти стыдился своей ловкости. Позже, когда мы оставили сборный пункт, мы обнаружили, что это черта настоящего летчика, в отличие от «любимчиков Стиффи». Пока что он озадачивал нас. Конечно, он был стар. На войне он был армейским сигнальщиком. Он заслужил три нашивки за ранение и управлял нами, шумными, как будто от нас не могло исходить никакой опасности. Только вот смеялся слишком мало. Но на

параде глаза его очевидно улыбались, когда он держался перед нами, слегка откидываясь на каблуках, чтобы прокричать приказ. Ну что его так веселило?

18. Бейкер на перекличке

Сегодня вечером, когда должна была начаться перекличка, раздался ужасающий удар трости в дверь барака; и дверь чуть не соскочила с петель. На свет вышел Бейкер, капрал с крестом Виктории, которому из-за военного ордена многое позволялось в лагере. Он прошагал вдоль моей стороны барака, проверяя кровати. Малыш Нобби, застигнутый врасплох, был в одном ботинке. Капрал Бейкер остановился. «А с тобой что такое?» «Я выбивал гвоздь, от него нога болит». «Надеть ботинок сейчас же. Фамилия?» Он прошел до двери в конце, развернулся и бросил: «Кларк!» Нобби, как положено, отозвался: «Капрал!» — и бегом захромал по коридору (мы всегда должны бежать, когда нас зовут), чтобы вытянуться перед ним в струнку. Пауза, затем резко: «Назад к койке».

Но капрал все еще ждал, и мы должны были ждать тоже, выстроившись у кроватей. Снова, резко: «Кларк!» Спектакль повторялся снова и снова, а мы, четыре колонны, все смотрели, пригвожденные к месту стыдом и дисциплиной. Мы были нижними чинами, а нижний чин здесь унижает себя и свой род, если унижает себе подобного. Бейкер жаждал неприятностей и надеялся спровоцировать кого-нибудь из нас на какое-нибудь действие или слово, которое могло бы послужить поводом для нашего обвинения. Нобби послушно ковылял взад-вперед, наверное, раз восемь, пока в другой двери не показался капрал Эбнер. Бейкер развернулся и исчез. Когда Эбнер услышал наш рассказ, он снова вышел из казармы и вернулся уже перед сигналом гасить огни, мрачно улыбаясь.

Для меня этот час был отмечен личным делом. День за днем я набрасываю эти заметки о нашей жизни на сборном пункте, часто пишу в кровати между перекличкой и сигналом гасить огни, на любом клочке бумаги. Поэтому кажется, что я всего лишь пишу письма. Теперь эти листки превратились в неуправляемую мятую груду. Но я не мог выслать первые из них, потому что часто возвращался с более полным пониманием к прошлому опыту и дополнял его; или собирал впечатления, скажем, о трех пожарных караулах в один. Наконец на ум мне пришла чистая записная книжка с отрывными листами среди моих бумаг в Лондоне; и я выписал ее оттуда. Она пришла сегодня, и сейчас я развернул ее, чтобы начать перенос: но, когда я для начала

встряхнул страницы, на пол вывалился мой давний пергаментный патент полномочного министра: — «Георг», ну вы знаете, «своему доверенному и любимому»… с печатью, такой же красной и почти такой же широкой, как было мое лицо. «Это что?» — спросил любопытный Питерс. «Мое метрическое свидетельство», — выкрутился я, убирая его подальше с глаз.

19. Дерьмовоз

В восемь утра мы, четверо, стояли у транспортного двора, чувствуя себя мерзопакостно. Нечего сказать, повезло — попасть на дерьмовоз в понедельник, когда груз двойной. Наш нечесаный водитель (все водители в BBC ходят нечесаными) потрепал свою машину и попытался завести ее захолодевший двигатель. Наконец она с ревом выехала. Мы бросились к качающемуся заднему борту и влезли внутрь. Грузовик повернул влево, вниз через мост. Очевидно, к секции М. Хиллингдон-хаус казался заброшенным из-за черных широких окон, за которыми клерки смаковали первые чашки чая. «Везучие, сволочи», — завистливо усмехнулся Моряк. Клеркам не приходится вставать в шесть. Руки у нас замерзли, и грязное тело грузовика с грохотом подскакивало на трудной дороге.

Секция М., кухня. «Двое на каждый бак», — приказал капрал. Мы поднимали высокие баки из гальванизированного железа и ковыляли с ними по украшенной орнаментом площадке кухни к грязным цементным ступеням, ведущим к дороге. Там мы объединяли силы — трое поднимали баки, а последний, в грузовике, тянул их сверху. Двадцать шесть баков, примерно две тонны. Многовато отбросов для восьми сотен человек? Да, но каждый род войск выбрасывает столько пищи, чтобы прокормить два остальных.

Некоторые из субботних баков были плотно набиты осевшей под собственным весом сажей, костями, бумагой, объедками, разбитыми тарелками и стаканами, сотнями жестянок, гниющим мясом и соломой, старой одеждой: и заплесневелым зеленым хлебом, пахнувшим, как кокос. Кто-то вылил сверху несколько галлонов черного вещества, похожего на патоку: и оно сцементировало даже пепел и картофельные очистки в один твердый пудинг. Четыре бака отказывались опрокидываться: пришлось вычерпывать их содержимое руками. Не то чтобы это было так противно на ощупь, но зрелище чистой руки, погружающейся во все это, вызывало содрогание: и не знаешь, как потом держать запачканную конечность.

Грузовик был заполнен наполовину. Мы забрались туда еще

раз. Теперь нас не швыряло из стороны в сторону, когда он выехал. Глубоко по колено мы были закопаны в отбросы. Когда скорость увеличивалась, тряска грузовика просеивала груз. Все мокрое и тяжелое оседало на пол: в то время как пыль и пепел поднимались наверх. Даже еще выше, в дымку, которая медленно сгущалась, пока дорога убегала за нами. Чтобы спасти лагерь от заражения тем, что рассеивается с мусоровоза, по приказу властей над машиной натянут брезентовый тент, и приказано надежно опускать заднюю завесу. Наш сегодняшний капрал был буквалистом, так что мы повиновались букве закона. Но мусор вызывал удушье, как огонь от сырых дров. Мы, четверо пассажиров, добрались до завесы и, задыхаясь, высунули головы в прореху на задней завесе. Вытянув шеи в сторону машины, мы смогли наполнить рты благодатным ветром, который поднимался от нашего быстрого движения вверх по дороге.

Вот офицерская кухня. Пять баков: работа непыльная: хотя после сорока движений вверх-вниз один бак кажется не таким уж легким. Снова несколько десятков ярдов до нашей кухни. Еще множество баков: но, слава тебе, господи, хоть земля ровная. От тонких рукояток суставы на пальцах изрезаны и покрыты волдырями, а предплечья болят от поднятия тонн мусора. И еще почему-то, может быть, от вони в грузовике, совсем сбилось дыхание. «Поживей там с последними», — крикнул капрал, зная, что остается всего несколько минут до обеда. «Сам поживей», — рычит Бойн, злой, как и все мы, чувствуя сейчас всю тяжесть каждого подъема, как только может измотанный человек чувствовать долгую работу и потерю обеда. Я пытался не засмеяться над остальными тремя. Пепел, осевший на их брови и потные щеки, сгладил очертания и превратил их в стариков. Несомненно, и меня, если бы я себя видел.

Вверх, вниз: вверх, вниз. Долгий путь назад с пустым баком; и снова ковылять с полным. Вверх, вниз: вверх, вниз: вверх, вниз. Конец одуряющим повторениям. Бойн подает нам сверху руку, и мы с трудом подтягиваемся к высокой откидной доске. Уже без тех обезьяньих прыжков, что были утром. Снова, конечно же, опускается завеса. Мы увязли уже глубже бедер. Когда грузовик кренится на углах, мы беспомощно раскорячиваемся в нем, кашляя и отплевываясь. Мои ноги в комбинезоне снизу пропитаны самыми разными отбросами. Что-то пузырчатое и мягкое забирается ко мне в промежность. По крайней мере, слишком гладкое для крысы. Мы спешим по длинной дорожке к мусоросжигательной печи. Ура, мы проехали столовую и можем поднять завесу. Никто не доложит о нас на дороге в обеденное время. Чистый воздух начинает просачиваться, пока вытекает

пыль и пепел.

Водитель подкатил к печи, и мы спустились, кашляя и задыхаясь, лица наши снова краснеют. «Подкати машину и опусти откидную доску», — повелевает капрал. Но водитель — старый солдат, не такая легкая добыча, как новобранцы. «Хрена с два! Думаете, я тут встану на этой чертовой жаре? Будет стоять, как стоит, тут за углом». «Стройсь, вы, четверо!» — рявкает на нас капрал, грубо, чтобы прикрыть свою неловкость: и заставляет нас строем прошагать назад в кухню, командуя — левой, правой, левой, левой, раз, два, три, чтобы привлечь внимание к тому, как он блюдет устав. Команды как раз идут на дневную строевую: мы краснеем, что они увидят, как муштруют нас. Без всякой надобности ходить строем среди зевак — это унижает служивых больше всего на свете. Это лишний раз напоминает о наших оковах.

Повар не оставил никакого обеда: но после перебранки извлек сковородку с объедками. Поскольку капрал не позволил нам уйти помыться, мы не имели права обижаться, когда нас сочли слишком вонючими для обеденного зала. Так что мы набросились на нашу долю, как волки, стоя в углу прохода к мойке, неподалеку от обработанных известкой баков, которые недавно опустошали. Через пятнадцать минут мы маршируем обратно. Левой-правой, левой-правой. Чертов дурак.

Теперь придется работать лопатой. Кидаем наш груз в контейнер печи. Занятие, способное сломать хребет усталым или унылым людям. Снова волдыри: прошли месяцы с тех пор, как мы держали в руках лопаты. «Почему, ну почему я пошел в эти Воздушные Силы?» — смешно причитает малыш Нобби, слабак, включение которого в сегодняшний отряд взвалило лишнюю работу на Бойна, на бодрого Моряка и на меня. Наш капрал гонял нас вовсю. После мусора пришлось возить помои, а многие считают это худшей частью работы.

Мы потащились назад, вверх по скату. Помои секции М. (то, что остается у каждого на тарелке, и все мокрые части пищи, сочтенные годными для лагерных свиней) наполнили одиннадцать баков. Мы загрузили их полными в наш грузовик. Они весили больше, чем мусор, потому что каждый бак до краев был наполнен скисшим молоком. Этот пропадающий даром коровий сок заставил и нас скиснуть: в лагерном чае так чувствуется нехватка молока.

Каждый раз, когда грузовик налетал на выбоину, баки извергали на нас сильные брызги. Это зловонная ванна. В разных местах лагеря мы захватывали еще что-нибудь: многое выбрасывает госпиталь. Потом наконец — дорога по парку к

свинарникам, население которых приветствовало нас восторженным визгом: настал их час. Мы выливали серые озера помоев в каждое корыто, и свиньи купались в них.

Наш рабочий день, похоже, шел к концу. Капрал дал нам передохнуть на золотом закате, сказав: «Полпятого; неплохо для понедельника». Нас не осчастливила эта похвала. Он за весь день и вздохнуть нам не дал. На его стороне была буква устава: но мало было капралов, достаточно дурных для того, чтобы ставить букву выше дела.

Кто-то из нашего барака бросил мне письмо, когда в последний раз мы тащились по дороге. Теперь я выудил его из кармана комбинезона, пропахшего помоями. Брызги, доставшиеся нам в грузовике, промочили холодом наши рубашки, и кожа была липкой, как негодная резина. Письмо тоже промокло, и конверт развалился в моей сырой руке. Слезящимися глазами я прочел предложение от друга-издателя поручить мне редактуру высоколобого ежемесячника «Белль-летр»[14], который он собирался выпускать. Я глядел с этих чудесных облаков на свою грязную одежду и задавался вопросом, как бы это было — вернуться назад.

Мы думали, что нам остаются последние минуты рабочего дня, чтобы, как положено, вернуться в караулку и услышать «разойдись». Но вдруг капрал снова приказывает нам строиться. «Этот мудила думает, что муштрует весь чертов лагерь», — ворчит Нобби, в гневе выходя за пределы своей слабой души от этой претензии окружить церемониями работу по уборке мусора. «Берите вилы и кидайте свинячье дерьмо в грузовик». «Что, капрал, постельку себе устраиваете?» — ласково осведомился Моряк.

Чувствовали мы себя убийственно. Неужели это никогда не кончится? Мы уже отработали девять часов. Я мог почувствовать, как все болит у меня: если другим так же плохо, то жалкая мы команда. Но я не смел, со своим книжным выговором, опуститься и подвести в работе. Они и так уже принимали как должное, что я слишком нежен для мужского труда. Так что я взял большие вилы и попытался поднимать волокнистую грязь. Наконец все было окончено. Грузовик двинулся к саду, где была компостная яма: мы, с немалым трудом, добавили в нее свою долю. Теперь работы закончились. «Можете ехать назад», — предложил капрал. Бойн и я выскочили. Ни одной добровольной минуты среди этой нездоровой вони, отравившей нам весь день.

В бараке, около шести (никакого нам чая, разумеется) мы оба поспешили мыться. Пепел, спекшийся с потом, пропитал каждую складку наших тел. Поэтому я принес мочалку из барака и лежал

в корыте для мытья, пока Бойн отдирал зернистую корку спереди и сзади и ополаскивал меня водой. Потом он тщательно обошел меня кругом и объявил, что я практически здоров. После этого я стал трудиться над ним. Ледяная вода жалила и холодила: а жесткая щетина расчесывала мою тонкую кожу до красноты то здесь, то там. Коченея, мы оделись и пошли в пожарный караул. Сержант заставил нас убирать пожарную станцию. Я был слишком сломлен, чтобы возражать хотя бы взглядом.

Мы вернулись на перекличку и купили себе по банке столовского чая и по три сосиски в тесте из кофейни. Я, по крайней мере, взял на себя оплату, имея девять пенсов (Нобби и Моряк были совсем на мели), зато у Моряка хватило духу сходить и принести все это нам. Бойн, как бывший офицер, был выше того, чтобы брать взаймы. Затем — в кровать, но, что касается меня — не для сна. Или потому, что я слишком устал: или потому, что запах помоев и мусора, медленно струившийся вверх с моих грязных вещей, окружал меня, как стоячее болото. Я лежал, часами глядя в черную крышу, пытаясь забыть, что до стирки остается еще пять дней.

20. Наш командующий офицер

Я проснулся, когда зажгли огни. Боль в голове, горло горит, тело ноет с головы до ног, как будто всю ночь по мне ездил паровой каток. Ну да, конечно, вчера был дерьмовоз. Однако впереди гимнастика и новый день.

День далеко не добрый. Идиот капрал, ведущий гимнастику, команды которого Мэдден уподобил чиханию таракана, снова взялся за нас. Сержант Каннингем уехал на выходные, и эта скотина получила власть. Чтобы поддержать его, появился комендант, пропащая душа. Он часто приезжает сюда утром в своем двухместном автомобиле. Это не человек, а сущие развалины: левой ноги у него нет, поврежден глаз и (как мы великодушно предполагаем) мозг, одна рука искалечена, среди ребер серебряные пластины и корсеты. Когда-то он был выдающимся военным: а теперь BBC — его милосердный приют.

На гимнастику он не надевает свои искусственные конечности: вместо этого он цепляется за стену кухни ногой в пустой штанине и держится за опору, а рукой пытается повторять движения инструктора. Скажете, это прекрасно со стороны инвалида — так отрицать свои увечья? Театральная похвальба, причем за наш счет. Он вынужден испытывать боль всегда, и потому настроен на то, чтобы нам было, по меньшей мере, неудобно. Когда он присутствует на гимнастике, она длится до

самой последней минуты: и, как бы ни плакало над нами небо, все упражнения должны быть сделаны. Он-то потом едет на машине домой и переодевается, если в этих руинах осталась хоть одна кость, способная почувствовать промозглую сырость. Летчикам приходится ходить так, пока их единственные брюки не просохнут.

Капрал спешно поднял нас на ноги, рыча и огрызаясь. Всех от него тошнило, и вся муштра разладилась. Самый лучший инструктор не может ничего поделать с упирающейся командой: а этот капрал был одним из худших. Ругань и угрозы — бесполезные средства для обучения. На мне тяжким грузом лежало истощение вчерашнего дня, и по скользкому асфальту бежать было тяжелее. Раз или два я чуть ли не сдался; но на меня зашипели, как на слабака, и я заковылял снова. Восемь ребят действительно свалились, вместо обычных двух-трех в день: но я изо всех сил приглядывался к себе и знал, что вряд ли упаду в обморок. И это к лучшему, потому что иначе врачи могут выкинуть меня как непригодного, и тогда все муки и надежды пропадут даром.

Разумеется, я пропустил завтрак: потому что плотность этой пищи довела бы до тошноты мое запыхавшееся тело. Потом капрал Эбнер сказал мне, что я направлен в штаб, бегать по поручениям, на весь день, поэтому должен сейчас же одеться в голубое и выступать. Это была еще и возможность разносить мою сбрую — «птичьи гнезда» в наших обмотках сильно беспокоили его перед походом в церковь. Обмотки, выпускаемые ВВС — негибкие, без припуска, и они не обволакивают ногу так, как обмотки Фокса — первое приобретение летчика, у которого завелись двенадцать шиллингов в кармане: но на сборном пункте новобранцам не разрешается идти на парад в «фоксах». Поэтому каким-то образом требуется приспособить к делу эту сбрую. Эбнер советовал надевать их очень туго в мокром виде: чтобы они растягивались там, где натянуты, и сморщивались там, где свободно висят, и после двух-трех таких замачиваний хоть как-то приспосабливались к нашим икроножным мышцам. Тем временем эта пытка сжатием заставляет нас хромать. Сегодня я был способен скорее ковылять по поручениям, чем бегать: и все же работа посыльного обещала быть чистой и легкой, так что я был благодарен, что капрал выбрал меня.

В штабе меня оставили на скамье в коридоре, пока я не понадоблюсь: до этого прошло два часа. Чуть ли не каждую минуту мимо проходили офицеры. Мне было приказано каждый раз подниматься на ноги и молча отдавать честь. Штукатурка на стене за скамьей посыльных сияла, отшлифованная шестилетним

трением об их спины. Я перестал изображать из себя заводную игрушку только тогда, когда старшина послал за мной, чтобы разжечь ему камин.

Вскоре после одиннадцати комендант решил нагрянуть с инспекцией обмундирования тех тренируемых, которые собираются покинуть сборный пункт. Туда, куда он шел, я должен был следовать за ним, как барашек за Мэри[15], в двух шагах позади: и я учился приспосабливаться к поступи его протеза, когда он обернулся ко мне и заорал: какого дьявола набалдашник моей трости смотрит в землю? Искаженное гневом лицо приблизилось прямо к моему, и меня чуть не затошнило от мерзкого вида грубых волосков, которые лезли у него кустами из носа и ушей, и темных крапинок, испещрявших его кожу. «Какой у вас номер?» (Между прочим, никогда не зовите человека «рядовым», и старайтесь сначала спросить у них фамилию, а не номер. Мы вовсе не гордимся тем, что ходим нумерованными). «Из какого отряда?» «Еще не направлен в отряд, сэр». Потерпев поражение, он развернулся и затопал дальше. Даже архикаратель не вправе покарать за огрехи в строевой подготовке того, кто еще не проходил ее. Навлекать несчастья доставляло ему удовольствие, ведь его тело причиняло ему такие муки, что передвигаться он мог, только плотно сжав губы и нахмурившись: ему становилось легче, лишь когда вокруг него расходились круги ужаса.

Еще больше стыда досталось на мою долю в бараке, где обмундирование было аккуратно сложено на кроватях. Даже не взглянув, он поддел палкой одеяло первого по жребию и сбросил его на пол. «Застелить снова, как следует», — прогремел он ошарашенному владельцу. То же со вторым и третьим. После этого он успокоился за то, что не смог причинить мне неприятностей, и на другие комплекты не набрасывался.

«Это ваша лучшая фуражка?» — одному из людей. «Да, с-с-сэр», — пролепетал он. Знающий человек. Комендант любит, когда перед ним пресмыкаются. Он прошел мимо. «А ваша?» — следующему. «Да, сэр», — ответил тот неустрашимо. Комендант натянул фуражку ему на глаза, потом сбросил ее и сбил назад. «Новую фуражку», — бросил он сержанту, стоящему у его локтя. «Новую, сэр», — подобострастно повторил сержант. «А этого рядового — на уставную стрижку», — продолжал тот. Это значит — обкорнают по всей голове, и придется неделями сидеть здесь, в заточении, уродом.

Измывательство продолжалось. Я ловил себя на том, что дрожу, сжимаю кулаки, повторяю себя: «я должен его ударить, должен», а потом чуть не расплакался от стыда, что офицер

выставляет себя таким хамом на публике. К счастью, на этом бараке представление закончилось, и мы прошествовали назад в штаб всей процессией, комендант, я, старшина, дежурный сержант и военный полицейский. Те, кто видели, как мы идем гуськом, шныряли назад или прятались за бараками. Если комендант на дороге к мосту, мы идем в секцию М, за полмили обходя столовую, чтобы уберечься от его дурного глаза.

Однажды он вышел, держа в каждой руке собаку на сворке. Возбужденные животные рванули вперед, увидев кошку. Калека упал, изрядно проехавшись лицом. Но собак он не отпускал. И не мог подняться, как ни бранился. Все склоны были усеяны летчиками, молча смотревшими на его потуги. Зараза любопытства достигла отрядов, и строевая остановилась. Наконец дежурный офицер, видя его брошенным, кинулся вниз и снова поставил его на ноги. «Да пусть бы старый хрыч хоть сдох», — перешептывались летчики.

Но мы были еще добрее к нему, чем его будущие подданные. В день, когда он впервые прилетел туда, аэродром был окружен рядовыми, чуть ли не на коленях молившимися, чтобы он разбился. Такая ненависть к смелому человеку столь же редкое, сколь и пагубное для военных явление. Его характер был основан на извращении понятий о храбрости, выносливости, твердости и силе: в нем не было участия ни к одному из тех, кто не был офицером, не было милосердия (хотя все роды войск нуждаются в большой дозе милосердия каждый день) и не было чувства товарищества. Он склонялся только к военной стороне Военно-Воздушных Сил, и понятия не имел о том, что его рядовые не будут покоряться таким методам. Отчасти, может быть, это была честная глупость. Его друзья-офицеры уверяли, что он был добр к собакам и близко к сердцу принимал материальные интересы рядовых. Это задевало нас еще больше. Нам казалось, что на нас можно было бы обратить чуть больше внимания, чем на нашу еду и одежду. Он относился к нам, как к скотине: поэтому видеть его было унижением для нас, а слышать его грубости — оскорблением. Само его соседство стало ненавистным, и мы избегали проходить мимо его дома.

После обеда адъютант вызвал меня звонком и с многочисленными инструкциями вручил запечатанный пакет для отдела расчетов, находящегося за мостом. Этот неопрятный барак, казалось, был весь заполнен столами на трех ножках, а столы были завалены документами, и я бродил там, не в силах найти среди множества клерков того, в чьи обязанности входит освобождать посыльных от ответственности. Как в тумане, я осознал, что в дальнем углу комнаты — золотой околыш,

обозначающий офицера. Вдруг он подал голос: «Вы что, не отдаете честь офицеру?» Пораженный, я выдавил из себя: «Да, сэр, отдаю, если он в фуражке». Отступив на шаг, он удивленно притронулся к голове и выдохнул: «Но я-то в фуражке». «Значит, так и есть, сэр», — весело ответил я: и отдал честь: и вручил свою тягостную ношу в его пустые руки: и, ловко развернувшись, ушел на свободу, прежде чем он успел закрыть рот.

Остаток дня я прислуживал адъютанту с мягкой речью, чье застенчивое нежелание мною пользоваться побуждало меня предупреждать его приказы. Четыре тридцать, и комендант готовится возвращаться домой, а для меня это сигнал к освобождению. Я снес его дипломат и бумаги к небольшой машине. Он тяжело забрался внутрь, без посторонней помощи: ибо мы знали, что протянутую ему руку он ударит костылем. На сиденье он расчистил место для собаки. Я завел двигатель. Он отмахнулся от меня, втащил внутрь костыль и отвел машину назад: потом взревел: «Прыгайте, дурак проклятый!» Я взлетел на покатый задок, и цеплялся там, как обезьяна, между капотом и багажником, пока он ловко вел по парку к своему дому, окруженному деревьями, у площадки для гольфа.

Он въехал в ворота: и крикнул мне: «Смирно!» Я вытянулся, как на параде. «В следующий раз держите трость как следует. Вольно!» Я повернулся направо, отдал честь и зашагал прочь. Нелепость муштры может быть терпимой только среди товарищей по несчастью. Поэтому моя спина, пока я шел, горела от мысли, что в его глазах мои ноги шагают не прямо. К тому же эти ноги были натружены. Сморщенные обмотки заставляли меня пожалеть, что он обрек меня на эту долгую прогулку пешком до лагеря. Прежде чем я достаточно отошел, можно еще было слышать, как он в саду муштрует своих детишек.

21. Кодекс общения

Сержант Лоутон, главный над рабочими отрядами, сегодня направил меня к лагерному парикмахеру. Эта работа иногда позволяет нам бесплатно подстричься, если тот свободен. В остальном это не бог весть что: надо поддерживать огонь в печке, подметать пол почти каждый час, и, когда много посетителей, надо намыливать подбородки тем, кто ожидает бритья.

Работа тихая: но на ней я получил социальный шок, когда парикмахер запел «Салли», которую поют у нас в бараке. Он что, считает себя таким же мужчиной, как мы? Служивые так замкнуты в своем частном мире, что признают за военными монополию на мужественность. Здесь все мы связаны и все равны:

кроме того, кто ловчее на строевой или опытнее. Классовых различий нет и в помине. В нашем бараке мальчишки-газетчики и студенты Кембриджа живут на одном уровне и пытаются говорить на едином рубленом диалекте летчиков. Но штафирки, вроде этого парикмахера, в картину не вписываются. Его фамильярность неприятно поразила меня. Странно.

Сегодня вечером Китаеза пришел потрепанный. Он напился в городе и подцепил шлюху, которую повел вниз к каналу, чтобы отыметь. Там он поссорился с двумя барочниками: очевидно, по своей вине, потому что он невозможный сквернослов, когда надерется. Одного он ударил: другой поставил ему синяк под глазом. Он упал, получил пинок в живот и скатился на мелководье. Когда он доплелся до барака, к кровати, он молчал, лицо его было белым: но оно всегда белое, с неповторимым выражением уныния и сальности. Все думали, он всего лишь набрался. Он разделся догола, что подтвердило нашу догадку. Чем беднее человек, тем больше он стыдится наготы. Мы сильно ругаем офицеров за их манеру, приобретенную в школах-интернатах, расхаживать по спальням неодетыми на глазах у денщиков.

Он растянулся на кровати, странно мотая головой, откинув туловище на верхнюю спинку и на подушку, с вздохами, переходящими в стоны. Тогда мы собрались вокруг, и, сквозь приглушенную ругань, он объяснил, что поцапался с двумя штатскими, а те дрались нечестно. Глаза его закрылись, и ребра ходили ходуном, пока он хватал ртом воздух. Ему, похоже, было худо. Слабым голосом он позвал Моряка, своего приятеля.

Моряк явился одним прыжком из центральной части барака: и, когда услышал, в чем дело, стал с силой разминать ему живот. Через десять минут Китаеза спокойно лежал на кровати. Зубастый сходил в кофейню (которая, по гуманному обычаю, открыта до полуночи в пределах ограды, чтобы те, у кого позднее увольнение, могли освежиться) и принес столовскую банку горячего чая. Китаеза выпил и медленно заснул. Утром он был на гимнастике, как обычно, ночные приключения успели выветриться из его памяти. Я думаю, это была жажда сострадания после побоев. Кроме того, Бойн, наш утонченный бывший офицер, был вместе с Китаезой и сам видел драку: он избежал ее, потому что Китаеза был не на правой стороне. Это был грех против кодекса Клеркенвелла[16], и Бойна потом слегка сторонились.

Школа-интернат и государственная школа сходятся нелегко. В один из прошлых вечеров завязался подушечный бой, и несколько боевых снарядов было порвано. Капрал спросил фамилии виновных. Все как воды в рот набрали. Капрал Эбнер

ждал признания: его не последовало. Поэтому он объявил приговор всем. Мы должны были пройти три пожарных караула подряд, и ущерб был вычтен из нашей оплаты. Через час Хордер (выпускник Хейлибери[17]), заводила в подушечном бою, вернулся с работ. Услышав новости, он пришел к капралу Эбнеру, и объявил себя зачинщиком и ответственным. Так что мы отделались: но весь барак был озадачен и обижен. «Что за херня, бежать к капралу и все брать на себя. Да хрен бы с ним, с этим пожарным караулом». Он лишил нас удовольствия вместе пасть и вместе, всем бараком, понести наказание. Мы начинаем хотеть быть командой, а не индивидуумами.

22. Ломать или строить

Маленький главный инструктор снова взял нас на гимнастику, тихо и добродушно, несмотря на злобный взгляд коменданта ему в спину. Он отдавал приказы так, будто бы мы ему нравились; и мягко, почти разговорным голосом. Мы должны были вести себя тихо, чтобы расслышать его. Когда он приказал нам прыгать, размахивая руками, нашелся растяпа, который не смог совладать с ритмом и уследить за своими конечностями — руки опускались, когда ноги поднимались, или те и другие бешено махали вместе, как будто он пытался уйти в отрыв. Это зрелище вызвало смех. Сержант Каннингем вывел перед строем (но все так же добродушно) тех, кто смеялся, а не неудачника. Любой другой инструктор посмеялся бы надо мной вместе с большинством. Извлек ли мрачный комендант, прислонившийся к своей стенке, из этого какой-нибудь урок?

Сегодня работы у нас были в гимнастическом зале. Здесь делают спортивную площадку, и наше дело — отчищать проволокой и перекрашивать множество восстановленных щитов, которыми надо огораживать беговую дорожку. Очевидно, работа неплохая. Шестеро было нас и шесть щеток: но они были измочалены, половина щетины отсутствовала, а половина истерлась. Пока капрал посылал за новыми, мы смотрели, как отряды упражняются на брусьях, или боксируют, или прыгают через «коня». Наши атлеты возликовали перед игрой мускулов, ожидающей нас. Увы, с какой радостью я забросил бы любые игры навеки!

Других щеток не было. Пришлось наносить краску прямо на ржавчину и окалину. Бесполезная работа деморализовала нас, и мы стали невольными обманщиками: а еще это подтвердило подозрение, что здесь отчаянно пытаются найти предлоги, чтобы держать нас занятыми. Мы с горечью чувствуем, что за этот

тягостный месяц расплескался наш пыл новичков, который, может быть, провел бы нас через трудности муштры и плаца к службе. Конечно, этот пыл дурно направлен. Наши неопытные руки в своем рвении пытаются чистить все изнутри и снаружи; поэтому теряют в скорости и нарываются на ругань за леность. Но старые солдаты, которые никогда не потратят лишней минуты и не двинут пальцем ради тех частей, которых не видно, получают и похвалу, и экономию сил.

Пока что мы получаем только ругань и не можем защититься. Здесь, на сборном пункте, четыре сотни рекрутов, шестьдесят офицеров, сто сержантов и капралов. Так что каждый третий властен менять наш курс. Большинство из них так и делает. Нас небрежно швыряют весь день из рук в руки, будто золотые мячики жонглеров: и в нас живет страх мячиков, как бы нас не уронили и не помяли. Помяли, но не разбили: и это прибавляет горечи. Нас можно загонять до полусмерти, но не до смерти: наказать, но не высшей мерой. Нет трепета настоящей опасности, чтобы можно было ускользать и спасаться: только неотвратимость мелких происшествий, от которых сбежать нельзя — а как сбежать из тюрьмы, которую строишь сам себе? Это вызывает разумное раболепие: легче вынести несправедливость, чем объяснить.

Я думаю, что внезапное рявканье сержантов и старшин на параде всегда таит за собой поражение властей, желающих сеять слепой ужас. Они уже превратили нас, пятьдесят штатских, в весьма запуганных военных всего за несколько дней. Наш полковник хорошо сформулировал это в кабинете перед двумя из нас, которых притащили туда за грязные ботинки в пожарном карауле, в тот вечер, когда они были на дерьмовозе. Он сказал: «Мне не хотелось бы выслушивать ваши оправдания. Вы здесь не на суде, и я вам не судья. Мой долг — поддержать авторитет сержанта, который счел нужным представить вас передо мной. Три дня заключения в бараках». Если бы все были так честны. Именно претензия (или разбитая надежда) на справедливость причиняет боль.

Нам, новобранцам, всегда советуют идти по пути наименьшего сопротивления, увиливать от всего, заслуженного или незаслуженного — кроме нашего жалованья. К концу каждого такого увещевания мы напоминаем друг другу: «Не забудем, что мы солдаты», и нас поправляют вопли: «Летчики!», а если капрала нет рядом, то, с насмешкой: «Королевские летчики!» Денно и нощно различие между летчиками и солдатами внушается нам всеми приходящими: и мы усваиваем его с большой охотой, потому что в тяготах работ и муштры нас утешает мысль о том, что есть люди, для которых эта военная суетность и есть

профессия.

Мы отождествляем армию с ее образом жизни и уже от души презираем ее, испытываем к ней отвращение. «На хуй армейских», — вопит Китаеза. — «Одна хренатень и никаких денег». Солдаты — части механизма, и их добродетель — подчинение внутри своего великого общества. Летчики — хозяева и повелители, когда не рабы, своих машин, и, хотя в воздухе ими действительно владеют офицеры, но в те долгие часы, когда они на земле, они принадлежат лично нам. Конечно же, не здесь, на сборном пункте. Здесь мы не можем отвлечься от унизительной муштры, которая в нашей последующей жизни летчиков на службе станет лишь наказанием, вроде отбывания на губе.

Может быть, и жаль, что на сборном пункте нет ни единого знака того, чем на самом деле занимаются ВВС — разве что истребитель «бристоль», ржавеющий за оградой на транспортном дворе. Вид полетов воодушевил бы нас, как напоминание о нашем призвании — помочь в завоевании воздушной стихии. Мы присягали этому делу (корпоративное усилие, в котором отдельные имена ничего на значат: но успех придет к объединенным рукам миллиона неизвестных) — завоевать свободное обладание высшей стихией, такое же полное, как вольность человека на земле или свобода моряка в море. А после этого я должен заметить, что только один в казарме вслух выражал желание подняться в воздух. Некоторые надеялись, что им такой возможности не представится.

Но, хотим мы летать или нет, мы летчики, в том новом облике, который новый род войск создает для себя. В ВВС нет ничего армейского, кроме сознания некоторых из офицеров. Летчики бесятся, когда публика называет их «рядовыми авиации». Намеренно, с щепетильностью, доходящей до грани рассудка, Министерство авиации сделало свою службу не похожей ни на армию, ни на флот. Посмотрите на наши звания! Механик авиации второго класса (как все мы сейчас), то же первого класса, ведущий механик авиации. Громоздкие, дурацкие названия! Сами мы сокращаем их до ВМА, МА-1, МА-2, и называем себя «авиамехами» (во время войны) или «мехами». «Мех» — это все равно что «братишка» или «солдатик» в других родах войск, — то, как мы называем себя на службе.

23. У повара

Снова не повезло. Меня выбрали работать на кухне, а это, как мы знаем по опыту, вторая по тяжести задача после дерьмовоза. Во всяком случае, не будет гимнастики. Те, кто назначен на

кухню, выползают из кровати в комбинезон и идут затемно, прямо с побудки, не умывшись, на работу, до тех пор, пока караульные не отужинают после семи вечера. Это долгие часы и тепловатые помои: гладкий, мерзостный жир: крупные шматы мороженой говядины с трупным запахом, которые надо таскать из грузовика на разделочный стол: обязательно мокрые руки, волосы и одежда, и вонь, которая не отвязывается целыми днями: особенно несчастен здесь тот, кто ненавидит кухни и всю механику приготовления мясной пищи. В пекарне, правда, нет такой мерзости.

Еще одним злосчастьем для меня сегодня стал молодой повар, который на шумной кухне очень похоже подражал тявканью щенка. Он гордился своим мастерством и искал угол, из которого это прозвучало бы громче всего. Там и без того стоял гвалт, как на бойлерном заводе, а его поминутное: «гав, гав, гав — тяф!», казалось, сводило меня с ума, как будто в мозг снова и снова втыкали стальные иглы. Если я могу сказать, что больше всего мне страшна в этом мире жизнерадостность, то ненавижу я больше всего шум, который лязгает вокруг, пока я не начинаю дрожать, как натянутая струна.

Мое тело с тех пор, когда я завербовался, было все время неприятно закостеневшим, и меня преследовали дурацкие несчастные случаи. Две недели назад я сломал мизинец, поскользнувшись на мокром гудроне во время гимнастики, а в прошлую пятницу растянул ногу в подъеме, таща двойной мешок муки по ступенькам в кухню сектора М. От неверного света в казарме сначала болят глаза, а потом голова, пока я набрасываю эти заметки. В целом картина явно незавидная. Я чувствую свою непригодность, не к жизни в авиации, которую я испробовал и нашел хорошей, но к суровости курса новобранцев. А еще мне не удается перенести на бумагу мощь этой жизни, так же явно, как не удается прожить ее. Все это чарующе огромно: но как перевести назад часы моего тела, чтобы найти в себе беззаботность и увидеть ее? Как вертеть словами, когда весь день я провожу в страхе за себя?

Слабость воли и тела, которая позволяла тявкающему повару так раздражать меня, что я содрогался, таким же образом подвергла меня немилости пузатого главного повара, — по виду и манерам сущий навозный жук, только багрового цвета, — который деловито передавал, удерживал и прятал от дежурного офицера то, что собирал из нашей пищи. Мне тошно было от того, что я замешан в преступлениях начальства: и, раз уж я воровал для него, то не скрывал в своем взгляде, что об этом думаю. Трудно было удерживать это только во взгляде. Снова кулаки у

меня сжимались. Чтобы стало легче, я с жаром работал, начищая его сволочные котлы и сковородки, пока они не засверкали всей поверхностью: и это был еще один проступок. Он-то хотел, чтобы они всего лишь прошли небрежный ежедневный осмотр. Он знал, что мои старания — упорное свидетельство против него. «Здоров ты на показуху, — процедил он, зная, что такая похвала любому летчику как острый нож, — а теперь иди разложи ножи и вилки». Это была месть: он потратил два часа моего дня на сортировку и раскладывание в бесполезные ряды приборов, которыми предполагалось пользоваться. Но я рад, что довел этого жирного халдея до ответных мер.

Мы подавали обед ординарцам, выстроившимся в очередь. Мой повар-щенок назначил себя раздавать сладкий крем, желтая мягкость которого должна была приглушить кислоту вареных яблок. Он обхватил бедрами теплый котелок с кремом и ерзал вверх-вниз, повторяя «ах, ах, ах» и виляя поясницей, будто бы это была женщина. Время от времени он облизывал край черпака своим неопрятным языком. Видя, что мы не смеемся, он поднял глаза на нас и громко заявил: «Есть три вида дерьма: горчица, — шваркнул по алюминиевому судку на столе, — крем, — уронил густой мазок на Мэддена, который стоял рядом со мной, — и ты, маленькая дрянь».

Когда, совсем поздно вечером, я открыл дверь нашей сияющей казармы, меня встретил такой шум, как будто там кутила компания демонов. Моряк подхватил меня под мышки и, под джаз на тазиках и гребешках, провел меня в танце до дальней двери и обратно. «Завтра инспекция полковника: это значит, по отрядам. Слава богу, ох, слава богу!» За моей спиной появился саркастический Питерс, вернувшийся из Лондона. «Какие-то вы тут все счастливые», — фыркнул он. «Иди ты в болото, — отозвался Гарнер. — Я всегда счастлив, когда отстрелялся и отщелкал пожарный караул». Потом мы рассказали ему правду, но он не поверил. «Да будет вам заливать: мы тут на работах до самого конца».

О чем-то подобном и мы начали уже шептаться, когда неделя за неделей проходила без передышки. Неужели BBC забыли свое обещание, данное, когда мы записывались, потому что им понадобилась служба поддержки для сборного пункта? После шестой недели в казарме раздались желчные протесты: предложения сделать то или это, чтобы утвердиться. Снова восстание? Не в этой жизни. Я думаю, прошли сотни лет с тех пор, как в Палате Общин возникала проблема, которая не смывалась бы брюзжанием. Но теперь наше желание осуществилось, и перспектива плаца относительно радужна. Мы

видели достаточно с нашего расстояния, чтобы страшиться его всей душой. Ни один рекрут не покидал сборный пункт без ненависти к муштре на все оставшиеся семь лет. Но плацу придет конец: работам — никогда. Размещение по отрядам сулит однажды избавление.

24. Инспекция

В первый раз все мы видим поблизости офицера, кроме тех случаев, когда получаем взыскания. Нет, еще был доктор, который, с бесконечной осторожностью, делал нам прививки в первый вторник. Странно, он, должно быть, сохранял интерес к технической стороне работы, которую делает, наверное, раз сто в неделю. Даже глаза его, казалось, видели каждого из нас в отдельности, когда он нас колол. А в остальном на сборном пункте существует обычай ставить непроницаемую преграду в виде нижних чинов между нами и нашими прирожденными вождями. Это придает лагерю иностранный акцент, вроде прусской армии или Иностранного Легиона: и вселяет в нас еще большее чувство сиротства. Нижние чины делятся по степеням, от великолепно самодовольного первого старшины (высокий, широко шагающий, голос как у вороны, страдающей запором) до завистливой обидчивости капралов. Капралы здесь всех сортов: но какая важность в сержантах! Губы сжаты, походка значительна, римская посадка фуражки (часто одна фуражка и не видно головы), бычий вес и достоинство. Шея сержанта сзади кирпично-красная, толстая и безволосая. У них неспешный взгляд. Их природа давно отвергла все детское.

Мы стояли ровными шеренгами перед комнатой ординарцев. Стиффи, адъютант по строевой подготовке, альфа и омега муштры на сборном пункте, прохаживался, окидывая нашу шеренгу суровым, пристальным взглядом. Он раздувал грудь, как бы спрашивая: «Кто из вас, червей, посмеет глядеть мне в лицо, будто имеет право на жизнь?» Перед каждым, кто имел планки на кителе, он останавливался, чтобы расспросить в подробностях о прежней службе. Если тот признавался, что служил во флоте, военные усы явственно кривились. Стиффи был в гвардии — сержантом-инструктором — и не стоит это забывать! Лучше забудьте, что записывались в ВВС. Именно гвардейский esprit de corps[18] побуждает нормального солдата завистливо ненавидеть гвардию. Мы ни во что не способны верить так, как они верят в свое сборище.

Наконец Стиффи отдал приказ: «Бывшие на службе — направо, зачисленные впервые — налево». Я поплелся налево

вместе с молодыми. При моих недостатках веселее будет видеть рядом неопытных. Мы — пятый отряд, а старослужащие — четвертый. Я сожалел о потере Моряка, когда увидел его, Дылду, тощего телеграфиста, и Кока идущими обратно. Стиффи никогда не сочтет флотского прошедшим обучение. «Что, говорит, салага ты хренов?» — издевался обрадованный Китаеза. «Старый солдат — старый пердун», — отозвался Моряк. Капрал Эбнер зашипел на нас: «Тишина!» Через пятнадцать минут — осмотр обмундирования. Мы понеслись, как бешеные.

При репетициях складывание обмундирования занимало час. Сначала мы скатывали матрасы и покрывали их самым коричневым и наименее рваным из наших одеял. Оставшееся постельное белье образовывало шоколадный бутерброд в изголовье кровати. На него мы складывали наши шинели, прижатые плотно, как коробка, с отполированными пуговицами, сверкающими спереди. Поверх — голубые фуражки. Мы вставали в проходах и выравнивали эту горку вверх.

Теперь китель, сложенный так, чтобы ремень образовывал прямой угол. Прикрывают его брюки, сложенные точно в области кителя, с двумя фалдами, которые, как гармошка, смотрят вперед. Полотенца складываются один раз, два, три и окружают по бокам эту голубую башню. Перед голубым лежит прямоугольный кардиган. С каждой стороны — свернутая обмотка. Рубашки упакованы и сложены парами, как кирпичи из фланели. Перед ними лежат трусы. Между ними — аккуратные шарики носков. Наши портпледы широко расправлены, нож, вилка, ложка, бритва, гребешок, зубная щетка, щетка для кожи, палка для чистки пуговиц, именно в таком порядке, разложены среди них. В раскрытых шкатулках — иголки, в которые вдета хлопчатобумажная нитка цвета хаки. Наши запасные ботинки вывернуты подошвами вверх, с каждой стороны портпледа. Подошвы отполированы черным, а стальные наконечники и пять рядов гвоздей начищены до блеска «шкуркой». Пять щеток для чистки, вымытые и с белыми спинками из стеклянной бумаги, выстроены в ряд вдоль подножия кровати.

Все наши официальные причиндалы уложены на виду, математически выстроены, сложены, измерены и взвешены: а также на них крупно нанесены наши официальные номера. Это выдает всю игру. Летчики не любят ходить нумерованными и не надевают то, на чем стоит заметный номер. Это снаряжение — лишь для инспекции, а наши настоящие, грязные, щетки, наша истинно поношенная одежда спрятаны в наших ящиках. «Вот показуха-то», — ворчал Дылда, когда его заставили красить серебрянкой банку для ваксы, пока она не засияла поддельным

серебром. Показуха и есть.

Полковник, сам из флотских, бодро пронесся по казарме, не глядя на аккуратно сложенное обмундирование, но разговаривая с каждым. Воспоминание о свирепом коменданте заставило меня испытать благодарность за то, что не все офицеры ВВС унижают свой чин. Его глаза вспыхнули при виде моих книг, и он наклонился к моему шкафчику — вычищенному внутри и снаружи — чтобы почитать их корешки. «Что это? — спросил он о «Нильсе Люне»[19]. — «Вы читаете датских писателей: почему вы вступили в Военно-Воздушные Силы?» «Думаю, у меня был душевный кризис, сэр». «Что-что? Что?! Старшина, запишите его фамилию». Он прошел мимо. «В кабинет к девяти часам», — резко сказал старшина, сверкнув глазами.

Меня ввели под конвоем. Капитан авиации был серьезен. Он мог дать мне лишь семь дней, а неучтивость к старшему офицеру требовал чрезвычайной суровости. Наконец он переправил меня на суд к тому полковнику, которого я только что оскорбил. «Хорошенькое дело: очевидно, расстреляют на рассвете», — сказал я себе, в действительности не заботясь ни на грош. Мы уже все побывали в штрафниках, получив наказание от ВВС. Пребывание «на губе», как мы любовно это называем, — в основном досадная помеха, особенно на сборном пункте, потому что записи о проступках новобранцев удаляются из их личных дел, когда они выходят отсюда. Это час строевой с полной выкладкой. Средняя нагрузка, после которой болят мышцы. После этого — наряды на работы, забава для тех, кто и так делает все, что способен сделать человек. В промежутках мы должны каждый час навещать караулку, чтобы доложиться. О первой дозе горько сожалеют, потому что теряется чистота штрафного листа: а каждый новобранец начинает с фантастической цели — завершить семь лет без единого проступка. Фантастической, потому что множество старших сержантов преследуют своих подчиненных, пока каждый не получит по дозе. После этого набрать много ходок становится предметом похвальбы. В нашем бараке все уже через это прошли — что касается службы — менее чем за шесть недель.

Наконец меня ввели, под конвоем и с непокрытой головой, на разбирательство дела об оскорблении. Когда обвинение повторили, он разразился смехом. «Господи боже, старшина; господи ты боже мой. Я приказал вам записать его фамилию на случай, если нам понадобится умный человек для работы. Какой дуралей привлек его под суд? Убирайтесь!» Он дружески вытянул меня тростью пониже спины. Говорят, что я первый, кому удалось избежать обвинения, выдвинутого нашим старшиной. Возможно.

Я дрожу от страха, как бы не получить от него эту умную работу! Днем мы переместились в барак номер четыре.

25. Надувательство

Это было вчера — мы сменили второй барак на четвертый. Вчерашним вечером, когда те, кто остался из второго, сидели вместе, над нами нависало чувство сожаления, утраты, потерянности. Мы были так послушны капралу Эбнеру, что забыли навык принятия решений. Никакой другой капрал не был нам назначен, а мы чувствуем себя заброшенными, когда за нами не присматривают. Будет занятно, если опыт жизни на службе совсем лишит нас способности к свободному плаванию. В моем случае — очень занятно, после той своевольной жизни, в которой я, казалось, уже утвердился. Теперь моя воля явно сама обернулась против себя: несмотря на препятствия извне. Каких усилий мне стоило одно то, чтобы попасть в Военно-Воздушные Силы! Без сомнения, легче было занять место в Кабинете министров!

Утром, когда мы проснулись, то будто никогда и не бывали на другом месте. Но потребность в хозяине вопияла в нас: так что мы правильным образом построились, под командованием Моряка, чтобы справиться с гимнастикой и завтраком по одному образцу. Теперь мы закалились по отношению к гимнастике и избегаем ее тягот. Молодые «мехи» могут смеяться и играть среди полузаправленных кроватей, когда приходят с нее: но я до полудня сам не свой. Конечно, это расстройство частично умственное. Я желал знать, что любое намеренное упражнение или показывание тела есть проституция; наши сотворенные образы — это наша беда, пока мы не находим в них удовольствие или боль, но тогда она становится нашей виной. Поэтому необходимость обращать внимание на свои руки и ноги — это самая горькая часть счета, который я оплачиваю за привилегию быть на службе.

Мое решительное стремление — пробиться сквозь все это к хорошо оплачиваемой и спокойной службе фотографа в какой-нибудь эскадрилье. В этом я жажду обрести призвание и средства к существованию на многие годы: к лучшему, надеюсь, ведь тяготы моего прошлого бытия дают мне твердую гарантию, что слишком долго жизнь моя не продлится. Как желанна смерть, сказал кто-то, для тех, кому нечего больше делать, только умирать![20]

Тем временем эту тренировку следует во что бы то ни стало пройти, ставка здесь — мое убежище. Раз шесть я был почти

сломлен: но в последнее время — нет. С каждой неделей явно становится легче. Сейчас я способен есть, при условии, что пропущу один прием пищи: нас кормят, как призовых борцов. Если бы только можно было крепко поспать! Но опыт жизни в пустыне научил меня проводить ночи в чуткой дремоте, прислушиваясь к опасности в малейшем звуке или движении: а казарма, где находится пятьдесят крепких ребят, ночью не затихает ни на минуту.

Сегодня мы работали на новом стадионе. Плотники поставили вокруг него ограду в три бруса, и мы должны были увенчивать ее рифлеными железными листами, чтобы беговую дорожку не было видно из лагеря. Работа была тяжелой для отряда из трех человек, но, когда все было сделано, по крайней мере, это было нечто осязаемое. Пять лет спустя я с теплым чувством увидел, что все это еще стоит крепко. К тому же в такой день приятно было побыть на свежем воздухе.

Нашим надсмотрщиком был низкорослый капрал, который только что отвертелся от обвинения в краже. Он вел назад рекрутов от железнодорожных путей позади лагеря: и кое-что из кармана мертвого парня было найдено не на месте. Однако свидетельств не хватало: хотя мы, кто знал бедного Бенсона до того, как он покончил с собой (молодые ребята, воспитанные в строгости, слишком часто бывают оглушены, когда пытаются разом вдохнуть жизнь полной грудью), знали, может быть, больше, чем хотели знать офицеры.

Капрал Харди лежал навзничь на траве позади забора и лениво грелся на солнце, глядя сквозь прищуренные веки, как мы работаем. Мы предупреждали его, если кто-то значительный появлялся на горизонте. Когда один из металлических листов выскользнул из пальцев того, кто держал, мы надеялись на помощь капрала: но ничего подобного. У него, сказал он, выходной: перед этим он дежурил в нашей казарме. Что ж, он был в одном шаге от увольнения; поэтому, может быть, и вел себя легкомысленно.

Мы несколько дней работали над этой оградой. Второй старшина сказал, что мы явно втянулись в это дело и должны продолжать. Все это время стояла прекрасная погода, и запах густой, коричневой травы, ощущение железа, нагретого на солнце — не последние из моих воспоминаний о сборном пункте. Нам не было теперь дела до задержек. Они были временными. Мы уже размещены по отрядам, и просто ждем, когда наш инструктор вернется из отпуска, и можем теперь делать эту работу, или не делать ничего, или что-нибудь похуже. Знать наперед, что мы будем делать завтра — это вселяло приятную надежность, когда

мы ложились вечером и поднимались на рассвете.

26. Китаеза в беде

Прошлым вечером, воспользовавшись тем, что капрала не было в казарме, Китаеза, наш грозный кокни, после сигнала гасить огни перебрался к кровати Зубастого и полчаса с ним шептался. Зубастому (один из его резцов треснул посередине) двадцать четыре года, он надежный и сведущий, прошел шесть лет в армии, хотя и не признается в этом перед Стиффи. Я догадывался, что у Китаезы какие-то проблемы, и видел их следы во время работ на следующий день, он был молчалив, и лицо его было еще более кислым, чем обычно. Хотя нельзя сказать, чтобы это бледное, беспокойное лицо с вечной язвительной ухмылкой бывало когда-нибудь хоть на йоту добродушным.

Сегодня была суббота, наш выходной. Мне захотелось, по крайней мере, хоть минуту не видеть этот лагерь, наполовину каторгу, наполовину эргастул, до недавних пор в целом неприятный. Поэтому я надел всю свою шерстяную красоту и пошел гулять по городку. У трамвайной остановки рядом с «Семью колоколами» на краю тротуара стоял Китаеза, грызя ногти, с видом неуверенного недовольства. Когда два летчика встречаются на мостовой, они обмениваются эзотерическим подмигиванием; но Китаеза протянул руку: «Полминуты, Бо». Он вышел на дорогу, оглядел пустые трамвайные пути, вернулся и хрипло, настойчиво сказал: «Пойдем выпьем». Я медлил: то, что пьет Китаеза, для меня будет смертью и проклятием: но такая явная настойчивость должна была иметь причину. Я зашел.

«Мне биттер, — поведал он полушепотом. — Тебе портвешку?» В его глазах это «шикарный» напиток: а в казарме я считаюсь «шикарным», не столько за книжное произношение, сколько за то, что у меня есть единственные действующие наручные часы. Не десять раз, но раз пятьдесят на дню мне приходится отвечать, который час. Будучи терпеливым, я всегда говорю точно: в качестве ответной вежливости, когда им чего-нибудь надо, то они обращаются ко мне «мистер».

Однако выпивку принесли. Приятель Китаезы, капрал военной полиции, был втянут в наш круг. Китаеза начал рассказывать, что его пташка приехала сегодня сюда из Лондондерри, чтобы отыскать его; и теперь он должен скорее на ней жениться. Он встретил ее, когда они стояли гарнизоном в Ирландии, и сказал ей, что, как только демобилизуется, вступит в ВВС. И вот она его разыскала. «А ты правда должен на ней жениться?» — спросил капрал. «Ну, ведь девчонка, у которой

хватило пороху добраться сюда, чтобы найти меня — она боец; настоящий чемпион». Китаеза был так тронут, что забыл все свои прилагательные на «ф» и на «б». Капрал согласился, что с такой девушкой надо вести себя прилично. Боец и чемпион: именно так. Пришла моя очередь ставить выпивку.

Китаеза все еще чувствовал себя неловко: унылым: несчастным. Было и другое. Его, похоже, вчера предупредили, что во вторник он должен отправиться в Холтон, куда направлен на обучение. Довольно короткий срок уведомления: но капрал знал Холтон и ободрил его. Она может поступить там в госпиталь ВВС, и все сразу решится. Госпиталь там мировой… Китаеза перебил его, с дрожью в голосе: «Да что же такое, три дня, на хрен. Где, мать их так, я в этом занюханном месте найду квартиру для девушки? Старушка последние три фунта выложила, чтобы добраться сюда. Они католики, как и я. Придется жить гражданским браком: не смогу же я к понедельнику все утрясти со святым отцом». Он чуть не плакал. Капрал начал объяснять, что теперь, согласно законам ВВС, должен делать Китаеза. «Старик женат, — это полковник, от которого я пострадал на прошлой неделе, — он не будет придираться к тебе, если ты прямо ему все выложишь. Он тебя легко отпустит».

Раздался звонок трамвая, и капрал покинул нас, чтобы проветрить свой полицейский нарукавник на мостовой. Он разговаривал прилично, к моему удивлению. В армии есть правило, что сержантам нельзя якшаться с рядовыми — или, скорее, было такое правило до войны. В ВВС все служивые равны: поправка, которая во многом служит к эффективности и скромности. Но мы не считаем военную полицию служивыми. Несчастные гибриды: они могут заслужить похвалу от товарищей, только если пренебрегают своим долгом.

Китаеза мрачно предложил еще выпить. Жаль, что долг отвлек капрала, когда была его очередь угощать. Я стал понимать, что беда Китаезы — в недостатке денег, так что угощал сам, позаботившись, чтобы он увидел два фунта в моем кармане. «Если пригодятся наличные, Китаеза…» Он ухватился за это, как тонущий. «Господи Боже: надеюсь, тебе не понадобится отдавать прямо сейчас. Ну, вообще… кто бы еще, бля, стал об этом думать». Оставив выпивку, он бросился прочь, к поезду, идущему на восток, перед этим сжав мне руку до костей: я без гроша отправился назад в лагерь. Деньги — вот что нужно ему было все время, но упрямство сделало его слишком ранимым, чтобы попросить их прямо. А еще ему нужно было облегчение от исповеди перед тем, кто меньше всего был похож на него. Мы жили рядом с самого августа: но всего два дня назад он сказал

малышу Нобби, что я хитровыебанный тип, которого он никак не может раскусить.

Видите ли, я не способен ни с кем ни во что играть: и врожденная застенчивость отгораживает меня от их вольницы — лапанья, жмурок, пинков, займов и грязных разговоров: несмотря на мою симпатию к несдержанной честности без прикрас, в которой они купаются. В нашей скученной жизни неизбежно открыты те физические нескромности, которые вежливость держит прикрытыми. Половая активность становится наивной похвальбой, и какие бы то ни было аномалии темпераментов или органов выставляются напоказ всем любопытствующим. Власти поощряют такое поведение. Все уборные в лагере лишены дверей. «Заставьте этих ублюдков вместе спать, вместе жрать и вместе срать, — ухмыляется старик Джок Маккей, старший инструктор, — и тогда, естественным образом, мы будем их вместе муштровать». Но мы с Китаезой победили его. В лагере мы были незнакомцами: и стена нашей отчужденности сломалась только здесь, вне оков лагеря, когда он и я были двумя пятнами голубого в мире простой одежды.

27. Проповедь

Выходные продолжаются. Капрала в казарме все еще нет. Поэтому мы планировали пролежать в кроватях все воскресное утро, а встать только к завтраку, при теплом, уютном дневном свете. Привычка, однако, подняла нас в обычные шесть часов. Мы лежали, свернувшись, в кроватях и болтали. Долгое, праздное начало дня. Была какая-то распущенность в этом свободном разговоре под длинным носом у властей. Дылда, наш тощий морской телеграфист шести футов ростом, выбрался из кровати и в своей короткой рубашке (того же размера, которая плотно заполняет мои штаны, с моим маленьким ростом) прошествовал со своей простыней перед каждым из нас, торжествующе показывая следы стыдных снов. «Этот верхний, — хвастал он, — вылитая карта Ирландии». Моряк оборвал его: «Хорош бы уже тянуть свой хобот». Дылда, вечно ухмыляющийся, трусоватый и глупый, стал возражать со слабым негодованием: «Я помолвлен с лучшей девушкой в Девонпорте, и это о ней я мечтаю каждую ночь. С тех пор, как мы сговорились, я и пизды-то не пробовал. Парень знает, когда ему повезло».

Прекрасное утро для похода в церковь. Весь оркестр BBC вышел, и, пока мы разделялись на отряды, строились и собирались, они, призывая нас в церковь, извлекали жалобно-прекрасную музыку, медленную и насыщенную, из деревянных

духовых инструментов. Наши чувства стали такими же. Такое солнечное утро, казалось, было создано для благоговения: хотя я упустил свое роскошное место у алтаря, и средневековым искусством на этот раз не развлекался. Только могильный камень (без украшений) мистера Дэниэла Стоунарда, который умер в 1724 году девятнадцати лет. Я все-таки рад, что дожил уже до такого возраста.

Так что волей-неволей я прослушал еще одну оторванную от жизни службу, и снова меня уязвило то, что она попадала мимо цели, проносясь над этими стройными колоннами здоровых «мехов», которых я знал изнутри. Теперь они были одинаково одеты и все пели «Король любви — мой пастырь»[21] теми же голосами и с тем же языческим упоением, как ежедневно богохульствовали. И их умы не видели никаких противоречий между их богослужением и их жизнью. Ни чистые слова, ни грязные слова в их устах не имели значения. Слова были подобны нашим ботинкам, грязные на улице, чистые в помещении: ежедневное удобство, но не показатель духа этих ребят. Они еще не научились говорить.

Святой отец, в своей слепоте, все еще трудился над тем, чтобы получить ответ от немых. Раболепное смирение его конфессии, его потрясающая претензия на абсолют — все это дребезжало поверх всей голубой конгрегации так же пронзительно, как какое-нибудь из наших ругательств в затихшей церкви. Не было ровно никакой связи между этими словами. Парни были лишены масок и не колебались объявить всю свою подноготную или свои цели, в безгрешной честности всего, что делается явно. Такая открытость и была священной.

Точно так же мы не давали священнику права на противопоставление Человека и Бога. Слишком глубоко вглядываясь в собственную персону, человек, подобный ему, может видеть, что его дух находится в разладе с человечным и с божественным сразу, и стоять во плоти, проповедуя свою трихотомию с кафедры; в то время как где-нибудь в одиночестве он считает их образ жизни животным. Но для служивых это вряд ли так. Зачисление в войска приносит шок от повторного открытия первооснов жизни: как говорится среди военных, у каждого механика есть свой насос и мешок с инструментами. Даже когда мы дерзко стремимся в самые дальние дали, все равно тащим с собой это оборудование: и те, кто носит форму, слишком много значат друг для друга, чтобы оставалось место для утешителей. Каждый из нас — небольшая часть всех остальных, как и все остальные из нас.

Поход закончился, и не пришлось ходить гуськом вдоль

плаца. И наш увечный череп с костями не маячил сегодня рядом с флагом. Я пролежал на траве весь день, а солнце вытапливало из меня все горести недели, сустав за суставом, пока все мое существо не засияло от счастья.

28. Форма для отливки

Такой неделей я могу все еще наслаждаться, но парк постепенно уходит из моих мыслей. Отчасти, может быть, это потому, что ночи стали не такими теплыми, чтобы с удовольствием пройти до реки: отчасти — потому что мои ноги слишком устают к концу дня, чтобы носить меня туда и обратно в задумчивых прогулках. Поэтому я сижу на кровати в бараке, отвечая ребятам, или они заговаривают со мной, или я пытаюсь заснуть пораньше: ведь бессонные ночи заставляют меня жаждать продлить забытье. Но прежде всего парк блекнет для меня потому, что все больше нашими умами завладевает плац — площадка, покрытая гудроном, на которой Военно-Воздушные Силы будут вновь замешивать глину, из которой мы сделаны. Суровое испытание. Мы изучаем и жалеем тех, кто терпит его сейчас.

Всего двадцать недель, говорим мы: а дальше душу греет мысль об убежище наших профессий, после того, как нас назначат на какую-нибудь заурядную станцию: возвращение к тому, что было нашей натурой до зачисления. Но мы обманываем себя, приукрашивая будущее: здешние уроки въедаются глубоко, и нам уже никогда не быть прежними. Неужели ВВС совсем не пугает, что они переделывают столько людей по своей собственной воле?

Тела наши выстраивают согласно уставу: дух наш подвергается почти такой же жесткой формовке. Мы очень непохожи на расхлябанных штатских, которые просочились сюда через ворота под присмотром сержанта Шипшенкса два месяца назад. Хвастливых уже больше не слышно, а медлительные изможденны, потому что сердитые власти их преследуют и вставляют им, по нашему меткому выражению, фитиль. Чистосердечие вовсе не спасает нас от унижения и наказания. Поэтому своевольные часто хандрят и иногда срываются с намеченной колеи.

Эти ВВС — не столь древнее, неспешное и легендарное учреждение, как армия. Мы способны чувствовать за суетой инструкторов поступь уверенного, стремительного великана. Пятый отряд сегодня — самое младшее подразделение этого рода войск. Двадцать тысяч летчиков, лучших, чем мы, стоят между нами и Тренчардом, вершиной и примером для нас: но трепет

перед ним определенно служит нам компасом. Движущая сила принадлежит ему, а движется он энергично. Мы довольствуемся надеждой на то, что он знает свой путь. Евреи говорят, что Бог сотворил людей по образу своему, невероятная амбиция для создателя. Тренчард измыслил тот образ, который, по его мнению, более всего подходит для летчика; и мы подчиняем свою природу его воле, доверяясь ей. Если имя Тренчарда вслух произносится в бараке, все взгляды оборачиваются на произнесшего, и все замирают, пока кто-нибудь не спросит: «И что, что Тренчард?» — и с этого момента тот должен обеспечить нам что-нибудь грандиозное, чтобы соответствовать легенде. «Я считаю, вот это человек», — сказал однажды Джеймс с радостным смешком после того, как несколько ребят обменивались байками о том, как Тренчард умел укоротить командующих офицеров, наших важных тиранов. Иконоборец Китаеза восстал. «А я считаю, — сказал он, — что у Тренчарда дерьмо воняет так же, как и у меня». На него зашикали.

Имя Тренчарда значит для нас уверенность в ВВС, и мы не собираемся терять ее, слыша, как его развенчивают. Мы видим в нем саму бесконечность — судя не по тому, что он говорит, так как он настолько близко, как может быть непроизносимое: его слова достаточно ясны, чтобы заставить людей думать, что они предугадывают его план: — и не по тому, что он пишет: потому что он употребляет с минимальной пользой, возможно, худший почерк в мире: — но просто благодаря тому, что он есть. Он знает; и Полярная звезда этого знания указывает путь всем простодушным, разумным и колеблющимся малым сим, которые помогают ему или мешают.

Тренчард изобрел пробный камень, на котором Совет по делам авиации испытывает всю свою работу: «Приблизит это покорение воздушной стихии или же нет?» Иногда мы мечтаем, чтобы Совет умерил мудрости своим невинным овцам. Например, они недавно издали распоряжение, чтобы черная часть штыков отныне подлежала полировке. Это задает каждому рядовому около двадцати часов работы в год. Двадцать часов — это два с половиной дня, так как мы работаем в среднем по восемь часов, и нам приходится в служебные часы урывать время на эту роскошь во имя Совета по авиации. Как ни ломают головы «мехи», они не могут увязать отполированные штыки с эффективностью полетов. Виноваты. Но как эта красота, которая висит у нас на левом бедре, когда мы идем в церковь, может стоить половины недели, то есть пяти тысяч фунтов в год, Тренчарду! Если бы это был Стиффи! Гвардия всегда полирует свои штыки. Ну и во что же гвардейские превратили нашу работу?

29. Последний наряд

Сегодня нас выбрали, чтобы доставить в Дековилль материал с заброшенного аэродрома в шести милях к югу. Наш отряд — двенадцать человек в двух грузовиках, вместе с бесцветным дежурным сержантом и пышущим здоровьем капралом, предоставившим в наше распоряжение на весь день две мясистые ручищи и мощные бедра, когда груз попадался тяжелый. Редко я встречал человека, у которого ноги в такой степени заполняли пару штанов; а это были широкие штаны. Но он, должно быть, втискивался в них для того, чтобы держаться прямо.

Мы были веселы: вчера сержант Дженкинс, наш будущий инструктор, вернулся из увольнения. Так что наш испытательный срок был завершен. Множество новых рекрутов поджидали, чтобы принять от нас работу по содержанию сборного пункта; поскольку Министерство авиации надрывает сердца сменяющим друг друга поколениям новобранцев, проходящим через это трудовое чистилище, лишь затем, чтобы сэкономить на жалованье пятидесяти человек для постоянного обеспечения лагеря. Однако пусть наши последователи сами проливают свои слезы. «Надеюсь, эти бедолаги пройдут через все, как и мы», — великодушно сказал Джеймс. Завтра мы будем на плацу.

Поэтому путешествие во внешний мир на грузовиках было забавой: и мы разделяли эту забаву с каждым встречным. «Бобер!» — орали мы каждому бородатому человеку (тогда было поветрие этой дурацкой ситвелловской игры[22]), а каждой девушке наша команда, одетая в спецовки, махала руками. По мере того, как грузовик катил через деревни, мы галантно поднимали планку возраста для девушек, и, в конце концов, любая женщина презентабельной внешности удостаивалась нашего внимания.

Школьники приветствовали нас криками через стены дворов; мы, пятеро человек и несущаяся машина, честно отвечали тем же. Полицейских встречали улюлюканьем. Для стариков позывные были: «Плесень!» Мы-то все, видите ли, были молодые. Мы проехали мимо двух подтянутых летчиков, с воплями: «Давай выше!» и салютом авиации — правая рука выброшена вперед, а большой и указательный палец резко вытянуты вверх. «Болтай тише», — грубо отзывались они. Старушкам мы мяукали по-кошачьи.

А я? Я сжался в комок, закрыв лицо руками, плача, как ребенок (в первый раз за целые годы), в углу несущегося грузовика, который гремел, словно скачущий скелет, и на каждом подскоке то один, то другой толчок впечатывался в меня. Я пытался думать, счастлив ли я, и отчего я счастлив, и что это за

оглушительное чувство нахлынуло на меня — что наконец-то я обрел дом, после нескончаемого путешествия… и я подбирал слова, заглядывая внутрь себя, вместо того, чтобы мотаться из стороны в сторону в грузовике вместе с моими товарищами, кричавшими «ура» каждому встречному в избытке жизни. Вместе с товарищами, да; и среди товарищей; но сам — один ли из них? Лишь тогда, когда мы вместе повиновались какому-нибудь физическому движению, ход которого мог на мгновение поглотить мой ум.

К этому времени мы переехали через канал, где семейства барочников грелись, сидя на крышах будок. Наше воодушевление сорвало все границы и спровоцировало ответы с барж. Умеренный сержант в переднем грузовике стал умолять нас, толпу хулиганов, бога ради, прекратить эту гребаную возню. Через полмили мы заорали: «Стой, стой!» — с ужасом и отчаянием в голосе. Шустрый водитель затормозил, проехав юзом ярдов тридцать. «Ну, теперь-то, блядь, в чем дело?» — обрушился разъяренный сержант на опустевший грузовик. Все уже были позади, у дороги, сметая все из случайно встреченной кофейни. Затем наш водитель, хитрющий йоркширец, сбился с пути и остановился, чтобы разведать дорогу, под ветвями сада, увешанными яблоками. Они прекрасно насытили наши глотки.

К полудню воодушевление начало постепенно испаряться. Но в целом мы привезли восемь грузовиков дековильских рельсов, чтобы разровнять новую хоккейную площадку в лагере, и шесть грузовиков вагонеток от паровозов Фодена. Вместо обеда мы устроили пикник из хлеба, консервов и яблок на старом аэродроме. Руки у нас были все в волдырях. Наш последний наряд: и хорошая служба, сослуженная Тренчарду.

Часть вторая
На мельнице

Около трех дней спустя

1. Строевая подготовка

Среда, четвертое октября: всего третий наш вечер в качестве отряда: всего три дня прошли на плацу: но с этих пор, кажется, серый туман затемняет все первые впечатления, и я только теперь пытаюсь записать что-то о нашей новой жизни. Сейчас не такой поздний вечер, как обычное время, когда я пишу свои заметки: на самом деле, нет еще девяти. Раньше к этому часу только на двух-трех кроватях кто-то лежал: но сегодня вечером, и прошлым вечером, и позапрошлым, на каждую кровать уже повалился ее владелец, и казарма была охвачена усталостью.

Наш первый день был головокружительным водоворотом: второй прошел в мутном тумане изнеможения: а третий, то есть сегодня? Что ж, для меня вдали забрезжило окончание нашего испытания; но остальные в прострации. В эти дни мне пришлось несколько легче, чем им. Я прошел свое чистилище в период работ и, определенно, мои нервы и жилы больше не будут причинять мне таких мук.

Отряд ковыляет с парада, чтобы без задних ног рухнуть в постель; и там они лежат, не разговаривая, разве что шепотом, до отбоя, позабыв, что их животы требуют пищи. Некоторым не доводилось снимать носки и трусы с тех пор, как мы начали строевую подготовку. В то же время для меня на плацу не так тяжко, как на этих прежних работах. Позируя художникам, я научился замирать на три четверти часа, а военные позиции менее суровы, чем позы в студии. Конечно же, я устаю, и устаю, как собака; но не вычерпан до дна. Мне удавалось даже дотащиться, по поручениям других, полдюжины раз до ХАМЛ или до кофейни, за булочками или чаем в жестянках. Они слишком деморализованы, чтобы преодолеть эти несколько ярдов травы или гравия. Странное, утешительное и бодрящее чувство — оказаться здесь не самым слабосильным.

Наш сержант Дженкинс свалился с коликами в первое же утро, когда должен был принять нас в распоряжение. Дженкинс на первый взгляд — языкастый, уверенный, добродушный валлиец. После того, как он покинул нас, наш отряд стал нагрузкой, которую пихают на один день то к одному, то к

другому инструктору — кого не так жалко оторвать от прямых обязанностей: и они мстят нашим безвинным телам за то, что их используют не по назначению. Они привели нас к разлагающему страху, моральному уничижению. Если мы еще немного пробудем добычей для каждой кусачей собаки на плацу, то нам прямая дорога в госпиталь. Пятеро уже пробрались туда: вернее, трое пробрались, а двух, более порядочных, туда отнесли.

Я бывал раньше на сборных пунктах, видел или наблюдал, как тренируют там рядовых; но то, как обращаются с нами — просто изуверство. Пока все это еще не выкипело, я хочу записать, что некоторые из тех, кто день за днем упражняется на нас в своей власти, делают это из жажды жестокости. У них блестят лица, когда мы задыхаемся из последних сил; и сквозь их одежду очевидно напряжение мышц (а один раз — и в самом деле, половое возбуждение), которое выдает, что нас мучают не ради нашего блага, а ради потворства их страстям. Не знаю, видят ли это все остальные: в нашем бараке много невинных, которым не досталась в наказание моя способность к наблюдению: — на которых не возложен тяжкий венец умозаключений: — оргазм человеческого порока.

Но и они знают, что эта суровость — больше, чем тренировка. Законная дисциплина не довела бы их сейчас до той жалкой боязни, которую мы метко называем «обоссачкой». Присядьте на какую-нибудь кровать в бараке, и ваш нос расскажет, каково пришлось этому парню: взгляните на нас, набившихся по полдюжины в нужник за три минуты до следующего парада. Еще неделя, и ВВС подтвердит, что в каждом из нас сидит трус.

Может быть, я обессилен, эмоционален? Или это всего лишь воздействие тягостных условий на тело, непригодное по натуре и из-за своего прошлого к сегодняшним трудностям? Быть может, и нет ничего на этом плацу, что может повредить целостному человеку. Не буду утверждать обратного. Возможно — но вспомните, что мне это дается легче, чем моим товарищам. У меня единственного из барака есть сейчас силы, чтобы протестовать. Если время износило меня больше, чем их, то оно и сделало меня глубже. Эмоции человека, как водяные растения, разрастаются корнями, проталкиваясь на свет из своей первородной глины. Если они слишком расцветают, то затрудняют течение жизни. Но чувства этих ребят, поскольку они молоды, кажутся шлюпками на реке, они проходят шумно, с брызгами, но без следа, оставляя поверхность чистой, лишенной растительности, журчащей вокруг залитых солнцем камней. А попробуйте вывороти корни одной из моих мыслей — что за муть поднимется, сколько волокон будет порвано во тьме!

Я не боюсь ни наших инструкторов, ни их чрезмерных усилий. Осознать, почему мы — их жертвы, значит подняться над ними. Но, несмотря на мои исходные достижения и понимание, несмотря на мою готовность (побужденную глубоким недовольством собой) к тому, чтобы ВВС замесил меня и вылепил снова по своему образцу, все же мне хочется кричать, что это наше затянувшееся наказание не может служить ни красоте, ни пользе.

2. Четыре чувства

Снова после завтрака главный инструктор препоручил нас сержанту Пултону, в котором мы уже успели найти нашего худшего мучителя. Весь день мои глаза с тревогой следили, как он выбирает то одного, то другого из отряда, забавляясь с ними по часу, медленно ввинчивая острие своего презрения в самые их чувствительные места. Этим утром у меня появилось смутное чувство, что настанет и мой черед. Каждый раз, когда я поднимал глаза, какая-то часть во мне чувствовала себя на мушке его напряженного взгляда. У него всегда был напряженный взгляд, и все время он что-то грыз. Иногда — костяшки пальцев, иногда — ногти. Если нет, тогда заусенцы. Их он жевал с яростью, его лицо, точно вырубленное топором, искажалось от злости на эти пальцы.

Он не начал с меня сразу, только после своего показательного выступления, когда наступило время опроса. Тогда он выставил меня дураком, что слишком легко для инструктора по отношению к запинающемуся новобранцу. Какое-то чувство дисциплины связывает меня, связывает мой язык. Он поливал мою бесповоротную немоту всеми грязными и обидными прозвищами, какие знал: но им, казалось, не удавалось просочиться до моего внимания. Я торчал там, скорее чувствуя себя смешным и жалким, чем негодуя.

Диксон из задних рядов настойчивым шепотом советовал мне: «Ответь ты ему, чудик, ответь ему. Он видит, что ты прилип здесь, как обосранный, и чешет дальше. Ослепи его ученостью, как нас в бараке», — когда, среди равных, я отстаиваю свое мнение в словесных баталиях. Но, когда стоишь по стойке «смирно», вмешивается смутное уважение к долгу.

Боюсь, что зрелище того, как я жалким образом пытаюсь уклониться от его стрекала, только подзуживает сержанта Пултона. «На меня смотреть!» — вопит он: не могу. Если я разозлен, я могу глядеть в лицо человеку; но, когда эта гиена клянет меня, мне становится дурно от стыда, и я задаюсь вопросом, неужели моя власть когда-то так же бесчестила меня и

тех, кто стоял ниже меня. «На меня смотреть, в лицо мне смотреть, ты, свинья короткожопая», — орет он снова. Если я встречаюсь с его взглядом больше, чем на мгновение, глаза мои отворачиваются, и все расплывается в блестящей дымке слез. Не будь этого, мое тело могло бы пошатнуться и упасть. «Ну, я уже не могу, педрила неученый, — из всех эпитетов, печатных или непечатных, «неученый» почитается самым оскорбительным. — В глаза мне не смотрит и думает себе, что его снаряжение в полном порядке. Срань комариная».

Может быть, это глаза у меня не такие здоровые, что не могут напряженно сосредоточиться на чем-нибудь больше мгновения. Но другие мои чувства разделяют их судьбу. Возьмем слух. На большинстве концертов мне выдается один, два или три утонченных момента, когда меня настигает внезапное опустошение, и сознание улетает в пространство под эти вибрации идеального звука. Каждый раз это длится не более мгновения: еще немного, и я бы умер, потому что замирает дыхание, кровь и жизненные соки. Таким же образом экстаз от стихотворения заключен в нескольких словах, здесь и там — это дело секунды.

Слух — на миг; зрение — на миг; обоняние? Что ж, когда через минуту наша личность возвращается обратно после отсутствия, мы и своего-то запаха не чувствуем. Осязание? Не знаю. Я страшусь и избегаю осязания больше всех из моих чувств. В Оксфорде избранный проповедник на одной из вечерних служб, говоря о венерических заболеваниях, сказал: «И, заклинаю вас, мои юные друзья, не подвергайте опасности ваши бессмертные души ради удовольствия, которое, *насколько мне достоверно известно*, длится меньше двух минут без четверти». О прямом опыте я не могу судить, никогда не испытав искушения подвергнуть подобной опасности свою смертную душу; и шесть из десяти зачисленных разделяют мое неведение, несмотря на их возбуждающие речи. Стыдливость и желание остаться чистым принудили к целомудрию очень многих молодых летчиков, чья жизнь проходит и расточается в насильственном безбрачии, в грубых объятиях одеял. Но, если совершенное партнерство, наслаждение с живым телом, так же кратко, как одиночный акт, тогда его высшая точка — действительно не более чем конвульсия, на лезвии времени, которая оборачивается таким пресыщением, откатываясь назад, что искушение затухает до равнодушия, усталого отвращения, когда, раз в сто лет, природа требует свое.

Обычно молва обвиняет военных в повальной скверне и немалых вольностях. Но военные — это ведь вы и я, только в

форме. Некоторые хвастаются порочностью, чтобы скрыть невинность. Звучит это по-щенячьи. Тогда как на самом деле то одно, то другое, игры, возня, работа и суровая жизнь доводят тело до такого истощения, что мало остается искушений, чтобы их побороть. Слухи обвиняют нас и в содомии: и любой, кто послушает, о чем говорят в казармах у летчиков, решит, что это притон разврата. Но мы слишком тесно живем и слишком грязны телесно, чтобы привлекать друг друга. В лагерях все, даже то, что не предназначено для публики, становится публично известным: и в четырех крупных лагерях, где я пребывал, были пять человек, которые позволяли себе скотские действия. Несомненно, их натура искушала других: но они боролись с ее проявлением, так же, как нормальный летчик борется с влечением к женщинам, из заботы о своей физической форме.

3. Офицеры, прошу!

Гимнастика этим утром была суровой, в особенности, когда дневная суета пожирает наши нервы. Утренние сумерки мешали нам, было прохладнее, чем обычно. Как правило, утренняя гимнастика приносит одну или две жертвы. Сегодня семь человек выбыли из строя или упали в обморок там, где бежали. Счастливы те, кто бежит позади упавшего: вы и тот, кто рядом, поднимаете его и тащите к краю площадки, изображая неимоверные усилия. Если он достаточно порядочен, чтобы оживать помедленнее, то избавляет вас от остатка занятия.

Всемогущество сержантов и капралов здесь, на сборном пункте, все еще задевает меня как черта неанглийская и неудачная. Они полностью затмевают офицеров. Предполагается, что над нами есть капитан. Я видел одного, когда старшина притянул меня к ответу: но наши сержант и капрал не знают его ни по имени, ни в лицо. Офицеры на испытательном сроке вырастают на плацу, как грибы, каждое воскресенье, во время похода в церковь. Они отдают неправильные команды, а наши капралы вполголоса их поправляют, чтобы не испортить представление: и Стиффи, инструктор по строевой подготовке и наш станционный смотритель, распекает их у нас на глазах. Мы слышали, что он (прерогатива его — строевая подготовка) хочет заполнить ею весь сборный пункт, и не позволяет ни другим офицерам учить рядовых, ни рядовым — офицеров.

Как бы то ни было, нам постоянно не хватает контакта. Ни один офицер еще не заговаривал с кем-то из нас по доброй воле. Но ведь знать дух войск, их природу и кругозор — это основная часть их обязанностей. Комендант, возможно, считает, что они

унизят себя, если встретятся с нами. Если он так тревожится за них, то они занимают не свое место. Сейчас, на церемониале, они выглядят смехотворно, когда сначала вынуждают нас к ошибке, а затем вставляют нам фитиль. Капралы ворчат, что хорошие офицеры достаточно проницательны, чтобы не орать во всю глотку: но эти бедняги, поставленные сюда, будто фигуры на носу корабля, не могут практиковаться в командовании. Хороших офицеров легко сделать из хорошего материала путем тренировки. Они вовсе не теряют своих привилегий, когда публично учатся. Порядочный офицер может пребывать в полном согласии среди порядочных рядовых, не роняя себя: а все люди порядочны, пока не доказано обратное.

Мы жаждем таких командиров, наших природных командиров. Разве они не иной породы? Мы собираемся служить им без тех оговорок, которые применяем к Стиффи, так как он из той же глины, что и мы. Пока что единственное высшее существо, которое мы встречали (большинство из нас за всю жизнь) — это здешний школьный учитель, отмеченный у нас высшей пробой. Неотесанная часть казармы пытается подражать его выговору, когда он зачитывает именной список. Это оксфордская рокочущая речь, звучащая странно в сочетании с ист-эндскими гласными Уайта.

Из класса офицеров, которым мы желали бы служить, но которые выставляют себя ослами при еженедельном появлении на церемониале, мы все исключаем Стиффи. Мы испытываем к нему профессиональное восхищение за его высочайшее мастерство в строевой подготовке; и он так искренне верит, что муштра полезна и естественна, как свет солнца, что сила его веры наполовину обращает и нас.

Как человек и как личность он, похоже, не достигает вершин своего мастерства в строевой подготовке, поскольку спешка позволяет ему бранить нас на параде. «Вы, рядовые чертовы», — чтобы опорочить коменданта, хватало и одних «рядовых». Ругать тех, кому запрещается выглядеть недовольными (летчика могут обвинить в молчаливом неповиновении, если на его лицо находит тень), тех, чьи сердца так утвердились в послушании, что они краснеют за свое недовольство — это штучки старшин, которых хороший капрал по формальному поводу себе не позволяет. Конечно, старшина — это пропащая душа ex officio[23]; но мы полагаем, что офицеры должны упражняться в достоинстве.

Посреди тихого промежутка времени на плацу наши инструкторы внезапно разражаются гневом, честя нас в хвост и в гриву. Тогда мы догадываемся, что Стиффи подкрался сзади, чтобы понаблюдать. Мы сразу же начинаем нервничать, и

результаты ухудшаются. По природе капралы ближе к нам в своих чувствах (нет отдельной столовой для капралов, чтобы отделить часы их жизни от наших жизней), и, если бы их оставили в покое, они были бы терпеливыми и прилежными. Но им надо зарабатывать повышение, а традиционные натужные манеры, колючие и заставляющие всех помучаться, вызывают одобрение адъютанта.

Большинство ошибок на плацу происходит из-за нервозности. Напрягаясь, мы опережаем команды или запаздываем. Однажды нашего крепкого капрала Джексона выругал Стиффи за ошибку переднего отряда. Он принял это как подобает. Мы дрожали, ожидая наказания, когда снова остались с ним наедине; но днем он был ровным, как обычно, и сказал: «Я не стану отыгрываться на «мехах» лишь потому, что мне в обед фитиль вставили». Команды Джексона — это непрерывный поток слов: «Поднять оружие, голову выше, держать равнение, держать шаг, левой, левой, ЛЕВОЙ, кому говорю. Направо, шагом марш. Теперь поднять оружие», — столько обращений, что ни одно не попадает в цель. В каждой поправке должна присутствовать чья-нибудь фамилия; название любого отряда тоже пойдет, если вы их распекаете. Когда мы делаем что-нибудь очень плохо, Джексон хохочет низким театральным басом.

После того, как Стиффи несправедливо унизил капрала в понедельник, он смягчился и простил нам штрафной парад после инспекции обуви. Вместо этого он поставил нас «вольно» в среду утром и стал рассказывать, посмеиваясь, как его самого когда-то честили, и как он тридцать лет прослужил инструктором, и что все это входит в секрет нашей закалки. Нас собрали со всей страны: муштра заставит нас выглядеть как положено и с гордостью нести свою службу.

Он вел себя добродушно; мы смеялись, когда он улыбался: но этот приступ не сочетался с его серьезностью «для плаца». Либо то, либо другое было неискренним. Мне представляется, что сегодня он показал свое истинное лицо, до того, как традиция и закоснелая глупость покрыли ржавчиной мозг, который изначально имел склонность к мании муштры. Но остальные считают, что устав — это его исповедание веры. Он почти не догадывается, как мы содрогаемся перед тем, что его слова могут оказаться правдой. Мы молимся, даже во сне, чтобы избежать парадных манер вне парада. Долгая служба калечит человека так упорно и страшно, что на ее жертвах, даже когда они в обычной одежде, стоит клеймо старого солдата. Старые моряки этого избегают; и, как мы надеемся, старые летчики тоже. Кажется, что в подлинном покорении воздуха ничто не может деформировать

тело человека.

4. Капралы и сержанты

«Ты дурак, — злобно сказал капрал. — Ну вот кто ты такой?»

Зубастый стоял на месте.

«Делай, что тебе говорят. Скажи: «Я чертов дурак, капрал». Теперь Харди орал во весь голос, раскачиваясь вверх-вниз на своих маленьких ножках. Зубастый стоял, как скала, не произнося ни слова, и Харди волей-неволей отступил, разругав бедного Дылду, который всегда напрашивается на пинок под зад, и бывает такой же легкой добычей, как женщина. Он болтается в строю, как лишняя деталь.

Капрал Харди заступил на должность ассистента, надзирающего над нашим отрядом вчера, вместо устойчивого капрала Джексона. Он будет спать в бараке и смотреть за нами на плацу, вперемежку с нашим постоянным сержантом. Но Дженкинс все еще болен, и нас гоняют из конца в конец. Мне жаль, что мы потеряли капрала Джексона, который за несколько дней сумел взять над нами власть, разве что меньшую, чем Эбнер, но в другом роде. Эбнер был сильным и не склонным к гуманизму. Джексон мог смеяться и болтать, оставаясь в то же время не таким, как мы, нашим начальником. Он прослужил в строю девятнадцать лет и терпеливо ждал скудного капральского вспомоществования — пенсиона, который уменьшит сумму заработка, который потребуется ему вне Вооруженных Сил, и тем самым облегчит поиски работы.

Харди, как мы знаем, неряшлив и грязен, и страдает припадками тиранства. На параде он ведет нас строем к дальнему краю площадки, командует «вольно», и мы слушаем лекцию по тонкостям строевой подготовки. Лекция эта у него в голове, выучена наизусть, и мы слышим ее обрывки, когда Стиффи поворачивается в нашу сторону: «Когда я говорю «раз», срываете ее с плеч. Нет, нет, не так. Господи, парень, если бы я был таким же здоровым, я бы съел свою винтовку — да, съел бы, и пушку бы выдал назад». В остальном это грязные анекдоты, которые он рассказывает с невеселым смешком. Мы должны отзываться эхом на этот непристойный шум (сальный смешок можно услышать за милю) и подражать его слюнявой улыбке — или быть сбитыми с ног. Выбор невелик.

«Десятипенсовые сержанты» — зовем мы капралов. Они занимают полтинники у нас, рекрутов: с легкостью, потому что на построении перед работами они выбирают людей, чтобы послать по поручениям; и, если тебя заметят в неповиновении,

пропотеешь весь вечер на дурацкой работе. Даже когда лишь четверо из них столь продажны, безнаказанность этих немногих пятнает остальных. С нашей стороны, мы старательно ловим настроение начальства: смеемся их шуткам, вскакиваем на их приказы. В ответ они смягчают по отношению к нам тиранию, исходящую свыше — вспышки Стиффи. Эта огромная фигура топает по плацу, как сквозь толпу мальчишек, доходящую ему до колена, и льются дождем штрафные наряды, и каждый отряд испуганно мчится на место дислокации.

Намеченные им жертвы всегда выглядят сокрушенными; и они будут сокрушены, если им случается быть не в ладах со своими инструкторами. Но если капрал вам задолжал, он сохранит вас от лишней муштры, как бы ни ярился и ни обвинял вас Стиффи, как бы часто ни выкрикивалась ваша фамилия. Таким же образом, приготовив наличность, мы обычно можем посмеиваться (втайне) над угрозами сержантов вздуть нас. Не будь этой денежной системы, жизнь наша была бы паршивой. Пултон, которого нельзя подкупить, взял Джеймса, что весит вполовину меньше, вчера в гимнастический зал, и избил до синяков в боксерских перчатках. Он так и жену свою лупит.

Сегодня Стиффи послал меня на стрижку. Это значит — обкарнывают по всей голове, и я пришел, с ненавистью к себе, через комнату ординарцев в пять пятнадцать для штрафного построения. Но сержант Лоутон с насмешкой отмахнулся от меня: «Вали отсюда, парень. Больше сыра на твоем набалдашнике, чем волос на твоей черепушке. Ноги в руки, и пошел». Я засмеялся, без особой радости.

Светлые волосы для меня — несчастье. Стиффи ненавидит бледные лица и белобрысые головы; такие всегда привлекают его внимание, а затем — и его гнев; а самообладания у него не больше, чем у верблюда во время гона. Мы, новобранцы, держимся вместе в строю, и шепчем друг другу подсказки, и помогаем разворачивать неуклюжих в поворотах направо, налево и кругом. Бывшие армейские вроде Зубастого и меня в этом полезны, потому что книжные знания подсказывают нам, что происходит и как: но, когда у Стиффи срывает тормоза, остальные не в силах меня вытаскивать. Спокойствие покидает меня, и винтовка неловко дрожит в пальцах.

Сегодня после заката старший сержант Кроу пришел в барак и попросил у меня «Историю авиации в войне» Рэйли[24]. Книга популярная, и у меня уже взяли ее; так что ему не повезло. Он поглядел на мою полку и осведомился, изучал ли я психологию; и какие книги лучше помогут ему написать труд по психологии летчика? У «Фойла»[25] такие вещи можно достать? И, если он

оплатит мой проезд, смогу ли я съездить в субботу и купить эти книги для него? Он снабдит меня пропуском в Лондон.

Кстати, почему я поступил в ВВС? Я объяснил, что перетрудился на ниве умозрительной жизни, выраженной в науке, и мне нужно некоторое время побыть под паром, на вольном воздухе. Это значит — зарабатывать на жизнь собственными руками, к чему у меня не было раньше навыков; а мои руки ученого не стоят ни гроша в какой бы то ни было профессии. Поэтому я завербовался. Я поделился с ним моим стремлением на дно, в поиске уверенности, что дальше падать некуда: и еще необходимостью снова научиться жить в бедности, а это дается нелегко, когда несколько лет до того деньги были в твоем распоряжении. Считаю, что я добился исполнения своих желаний по части бедности и низкого положения: но, возможно, мало кто из докторов прописал бы Харди или сержанта Пултона как лекарство для нервов.

5. Мои часы

Сборный пункт в моей памяти залит лунным светом; ведь лунные лучи врываются в стеклянную коробку нашего барака ночь за ночью, через какой-нибудь из четырех рядов окон, и завладевают его пространством. Это чудесно — выйти прямо из духоты, где полно людей, в прохладную, открытую тишину: особенно в облачные ночи, когда луна, стоящая очень высоко, сияет через створку, задрапированная облаками, сужая луч света лишь до той части земли, где нахожусь я, будто в комнате.

Как бы я ни устал после работы, я не могу проспать всю ночь; ни разу, со дня зачисления. Темные часы шагают мимо меня, и я лежу, наполовину безразличный к ним, не очень желая спать, но еще меньше желая строить умозаключения или прислушиваться к звукам казармы: потому что наша казарма упорно старается вторгаться в то, чему следовало быть душевным покоем. После полуночи моя голова приподнимается на каждую вибрацию в застывшем воздухе — ребята мечтают вслух о девушках, бормоча их нежные прозвища, или коротко стонут: «не надо, не надо» (весь день рядовой жалуется про себя, и ночью эта привычка его не покидает; он всегда безмолвно просит о жалости, не в силах защитить себя). Они вздыхают и пукают под тихие звуки струн проволочных матрасов — и сигнал подъема обрывает конец ночи, будто последний вздох, как раз когда я начинаю привыкать лежать без движения. Мне кажется, я слышал каждый сигнал подъема с первого своего дня в лагере.

Поэтому призывный свет луны легко выманивает меня

наружу, поближе к ней. Одеться — минутное дело: гимнастические тапочки, штаны, а рубашка уже на мне. Свежий воздух резко освежает щетинистую округлость моей головы. Если бы только власти сознавали, насколько они притупляют восприятие своих людей, остригая им волосы слишком коротко, чтобы ветер мог играть с ними. Я задумчиво бреду, ссутулившись, голова всегда опущена, глаза смотрят вниз, чтобы бессознательно предупреждать мои беспечные ноги о препятствиях. Ум, обращенный внутрь, не может следить за дорогой.

Однажды, после двух часов утра, часовые задержали меня. Их капрал чуть не закричал на меня: и вспышка моего испуга, когда он слишком внезапно вторгся в мое поле зрения, заставила его невесело засмеяться. «Не спится, парень?» — спросил он. Я ответил, что просто прогуливаюсь. «Ну, иди в кровать: мне бы, бля, туда же». Грубое добродушие в его голосе было таким же простым и ясным, как ночной воздух. Бедняки достигают этой задушевности в голосе легче, чем разобщенные богачи.

Я побрел в другую сторону, чтобы избежать его доброты в дальнейшем, и оказался у ворот, там, где прачечная. Одинокий часовой, стоявший там, пришел к заключению, что у меня болят зубы. Когда я ответил, что нет, его воображение переключилось на другую физическую причину. Сегодня четверг: значит, я на мели и голоден. Он выудил два пенни из кармана и всучил их мне чуть ли не силой. «Иди пожуй чего-нибудь, — настаивал он мягко, и открыл мне ворота, чтобы я добрался до кофейни на перекрестке. — Давай, приятель; все нормалёк. Я здесь стою до четырех и впущу тебя обратно. Сил уж нет, всю ночь ходить вокруг этого блядского забора».

В другой раз сержант на часах послал за мной, чтобы меня привели к нему, и спросил, известно ли мне, что ходить по ночам запрещено. Я сказал, что мне показалось — на дорожки это не распространяется. Он заколебался. Это было что-то непривычное. Я сухо добавил, что заметил еще несколько человек, делающих то же самое этой ночью. Он улыбнулся, и, еще более сухо, все же просил меня не расхаживать слишком близко к часовым, потому что мои шаги все время их будят! Когда небо только начинает сереть, или чуть раньше, я возвращаюсь в барак. Я открываю скрипучую дверь, дюйм за дюймом, и неспешное теплое дыхание ребят пульсирует у меня в ушах, как будто огромное животное стоит в черной комнате, как в стойле.

6. Неумеренный

Снова Пултон. Это был ужасный день. Утро было еще средней

паршивости; но в течение дня, сырого, потного дня, он медленно нас дожимал. Какие-то выступления готовятся в гимнастическом зале, поэтому отменили нашу вторую гимнастику. Ребята жалели об этом; им нравится гимнастический зал, после которого у меня сердце бухает в груди по сто десять ударов в минуту, дышать становится так трудно, что рот всегда неприятно полуоткрыт, а любая пища еще в течение часа выворачивает меня наизнанку. Обычно я жду до шести часов, а затем беру кружку теплого, похожего на помои столовского чая и две булочки по два пенни. Напротив, строевая подготовка мне почти в радость, а других она выматывает. Я должен быть благодарен своей прежней жизни за умение замирать на любое время.

Когда прозвучал сигнал к чаю, сержант Пултон был настроен как нельзя хуже. Мы сникли духом и телом. Злой инструктор делает людей жалкими, а жалкий отряд повисает, как мокрая тряпка. Каждый в отдельности может стараться изо всех сил, но ансамбля нет.

Совершенство в строевой подготовке не зависит от личных совершенств; пятьдесят лучших людей, попавших в новую команду, не будут хорошим отрядом. Четкость зависит от знания, что делает тот, кто стоит впереди, и тот, кто позади, и те, кто по обе стороны от тебя. Все должны опустить левую ногу одновременно, с едва заметным ударом, чтобы сверить время с внутренним метрономом. Это приходит со временем, после тренировки. Сделать это можно лишь в абсолютно спокойном состоянии духа. Это дело доверия, бессознательной уверенности, подсказывающей, что собираются делать те, кто справа и слева от тебя. Тогда все ноги топают, как одна, и отряд — это отряд, а не пятьдесят человек.

После шести часов грубого обращения мы так не могли. Пултон настаивал. Труба продолжала звать нас. Он уперся рогом. «Никакого чая вам сегодня, вонючки. Я продержу вас здесь весь вечер». Он не видел, как Стиффи, адъютант по строевой подготовке, заходит с тыла, чтобы узнать, почему один отряд задерживается. Стиффи вызвал сержанта, вытерпел его длинное объяснение и ответил, громко, чтобы мы слышали: «Соберите их снова в пять пятнадцать, и пускай получат свое». Так что мы построились снова через полчаса, зная, что нам предстоят крестные муки.

От некоторых в заднем ряду слышалось бормотание, когда Пултон отмечал нас. «Заткнитесь там, — прорычал он, — иначе все будете на гауптвахте. Я вас сломаю, ублюдки». Он начал гонять нас туда и обратно, с множеством быстрых поворотов. Ошибка любого отражалась на всех, кто стоял позади; строй

смешался. Пултон яростно оскалил зубы, как собака, и послал нас в барак за полной выкладкой и винтовками.

Такое снаряжение мы надеваем в наказание, что сильно увеличивает трудность строевой подготовки в быстром темпе. Он увеличил нагрузку, как только мог, часто и резко останавливая нас на бегу. Это отвратительнейшая работа на износ, каждый дополнительный фунт веса подтачивает возможность мгновенно двинуться или остановиться. Лямки впивались в плечи, а винтовка свободно болталась на каждом шагу, оставляя жестокие синяки на моих четырежды сломанных узловатых ключицах. Каждый раз, когда кто-нибудь сбивался, Пултон останавливал всех, чтобы повторить движение.

Зажглись огни, все на одной стороне площадки. Сержант провел нас туда, чтобы мы были в поле зрения. Тень заполнилась другими отрядами, которые пришли полюбопытствовать. После трех четвертей часа без передышки пот сочился сквозь рубашки, по кителям, на затянутое снаряжение, глиняно-коричневая текстура которого покрывалась маслянисто-черными пятнами. Руки и колени у меня отчаянно дрожали, дыхание сквозь полуоткрытый рот стало слишком громким. От каждого вздоха першило в горле, и это конвульсивно переходило в легкие. И сломанное ребро прыгало в груди.

Наконец он остановил нас около большого фонаря и отдал команду «вольно». Я все время вытирал рукавом пот, слепящий глаза, и видел пар от своего дыхания, бледный в темноте. Пултон, проходя вдоль первого ряда, остановился передо мной и пригляделся, с отвращением сморщив нос. «Когда мылся в последний раз?» «Вчера, сержант, — честно выдохнул я; потому что каждый четверг и понедельник в небольшой чайной на деревенской улице меня ждет горячая ванна. Стоит это немного, а удовольствие достойно всего моего заработка. Горячая вода на сборном пункте редкость. «Расстегнуть воротник, — приказал он, грубо запустил руку внутрь, к моей мокрой груди. — Господи, да этот поганец завшивел. Ты и ты, — Моряку и Хокстону, которых он тоже недолюбливает, — отведите этого грязнулю в душевую и соскребите с него дерьмо как следует».

Я попытался идти под этим конвоем перед всеми, как будто мне все равно; но любое твердо высказанное обвинение убеждает меня в том, что я виноват. Как только дверной пролет скрыл нас от толпы, я попытался что-нибудь выдавить в свою защиту. Моряк и слушать не стал. «Да господи, — ругался он, — если этот длинный мешок с дерьмом будет совать свою голову к нам, я из него выбью семь сортов говна. Но, приятель, ты же весь отряд позоришь, когда он всякий раз выставляет тебя дураком. Задай ты

этому невеже порцию своей хренологии».

На следующий день, при первой же передышке за первый период: «Эй ты там, Росс, недомерок хренов, как там твоя чертова кличка — ну, вот что ты знаешь?» Такие озадачивающие вопросы — любимая уловка Пултона, чтобы сбивать с толку. *Вытягиваюсь в струнку.* «Сержант», — как положено, отвечаю я. Он не останавливается. «Я у тебя спросил вопрос, дрянь ты такая!» Но я не устал еще за это время; и, раз уж Моряк советовал показать свою ученость, мне удается небрежно протянуть: «Что ж, сержант, в конкретном плане все мы, разумеется, не знаем ничего — не обладаем должной квалификацией — но, как и все остальные, я окружил свою жизнь частоколом из более или менее спекулятивных гипотез».

Из задних рядов послышался одобрительный выдох, усталый звук, будто шум ветра среди мокрых деревьев. Сержант выкатил глаза, потом прошептал про себя: «Господи Боже». На это Моряк издал высокий, внезапный, певучий смешок. «Отряд, смирно!» — завопил Пултон, и муштра опасливо продолжалась. «Господи, — ликовал Джеймс, хлопая меня по спине, позже, в безопасности барака, — этот дурила так и не понял, чем обработали его задницу — сверлом, буром, дрелью или перфоратором».

Это был последний раз, когда меня подбили на публичное выступление. Вскоре после проверки сержант Дженкинс, розовый и бодрый от выпивки, вломился к нам в барак и вызвал нас, прямо из кроватей, в коридор. «Строй-ся!» — икнул он, покачиваясь. Мы выстроились в шеренгу, босиком, в рубашках, прогоняя из глаз первую сонливость. «Отряд, смирно: равняйсь: отставить: равняйсь: отставить: равняйсь: шевелись: равнение на меня: рассчитайсь: направо по четыре: в колонну по четыре: хорошо: налево: вольно. С завтрашнего дня будете мои, — проревел он, потрясая своей тростью. Она была с медным острием, разделена по всей длине и на шарнирах, как кронциркуль, чтобы отмечать строевой шаг. — Вот это видите? Она будет гулять по вашим животам, пока не будет вся в крови. Я собираюсь делать на ней по три зарубки в день. Отряд, смирно: вольно: нет, не так, а как следует: чтобы я слышал, как у вас каблуки щелкнули».

«Но, сержант, на нас нет ботинок». — пискнул Нобби. «Нет ботинок? Ах вы ублюдки хреновы, ах вы сифилитики ёбаные… Вы одеты не по форме; все подряд. Ну и клал я на это. Per ardua ad asbestos — это что значит? Все за мной: «А пошел ты, я огнеупорный!» Упор лежа. Встать, лечь: чтобы у вас дерьмо в заднице звякнуло. Упор держать. Эй, ты как хуй ослиный: чуть что, сразу вставать. А теперь расскажу, как я тренировал женский

корпус. Левую ногу поднять: теперь правую ногу поднять. На стрижку — ты, и ты, и ты. Чего ржете? Ну хорошо: все в кровать. Я — Тафф Дженкинс, а вы — чертовски хороший отряд для первой недели. Спокойной ночи всем. «Всю ночь до утра, ра, ра, ра…» — пьяная песня угасла за шумом дождя[26].

7. Заново

Мы все начинаем сначала. Таффи, который перед самой войной служил в гвардии вместе со Стиффи, встретился с ним сегодня после завтрака и попросил, чтобы нас вернули на первую неделю. «Я улажу это с парнями, — пообещал он, когда Стиффи выразил опасение, что это может привести нас в уныние. — Их тут здорово дрючили все это время». Он напрямик выложил адъютанту, какой вред нам причинили издевательства, которые мы претерпели.

Таффи, злорадствуя по поводу того, что мы теперь должны пройти через все это, уже в его руках, издает здоровый икающий смешок: и мы достаточно рады ему, чтобы дерзить ему в ответ вне плаца. Тогда он гоняется за нами, с удивительной скоростью для такого пивного бочонка, и колотит нас своей знаменитой тростью. На занятиях он — странный кот, играющий с нами, странными мышами: мыши дергаются, молча и напряженно, а кот неподвижен и не умолкает вообще. Заполненная площадка напоминает мне кукольный театр. Стиффи — дирижер муштровки, а наше невежество — его оркестр.

Четверо, попавшие в госпиталь, отстали от отряда. Они вернутся обратно на работы, когда поправятся; и четверых из тех, кто попал на сборный пункт позже нас, направили, чтобы дополнить нашу численность. Один из них — не бог весть какое приобретение: тощий парень восемнадцати лет, у которого ноги загибаются назад, как ласты морского котика, неотесанный, неуклюжий, игривый. Он пудрит щеки, дочиста выскоблив их безопасной бритвой, душит волосы, чистит зубы, прыскает на подмышки и ноги. Сержант Дженкинс, внезапно увидев в строю это бледное лицо и влажный рот с ленивой улыбкой, закричал: «А ты как попала в наш отряд, Габи?» Кличка прижилась, Габи ей гордится.

Двадцатого октября утро впервые было слишком дождливым для гимнастики. Я отметил сей благословенный день белым мемориальным камнем. Это спасет меня, если осень окажется стабильно дождливой. Строевая подготовка шла в большом укрытии рядом с обеденным залом. Когда позже мы в шинелях торопились по мокрой дороге в школу, ободранные вязы

вздыхали, стонали и хрипели на унылом ветру, который был пятнистым и прохладным от дождя. Порывы ветра сбрасывали капли блестящей воды с веток, ливнем на наши спины. Мы нагнали какую-то женщину: так быстро мы двигались, что через три минуты она была на восемь ярдов позади. «Отряд, кру-гом!» — взревел Таффи. Мы развернулись обратно, навстречу женщине. «Держать равнение!» Она вспыхнула до корней волос: как и некоторые из нас. «Отряд, кругом!» И снова мы преследовали ее.

Это было вчера, а вечером, через полчаса после сигнала гасить огни, малыш Нобби, честный слабосильный дурачок, натянул штаны и выполз из кровати к печке, огонь в которой был еще горячим, хотя уже угасал. Он, дрожа, скрючился возле висящей на петлях заслонки. В других местах комнаты жар от красных углей затерялся: но первый их отблеск смягчил контуры его лица, похожего на лицо фавна, когда он держал его в ладонях, задумавшись (разве фавны задумываются?) долгими минутами: потом я уснул.

8. Распорядок дня

Часы наши не такие долгие: все трудности из-за напряжения. Каждое ухо напрягается, чтобы разгадать по первому слогу, какой будет вся команда — ибо нет другого способа, чтобы наши умы, все еще неповоротливые, точно отреагировали на нее. Каждый мускул должен быть напряжен, жилы натянуты, спина прямая, голова поднята, колени жесткие. Учебник называет это простой, естественной прямой осанкой. Посмотрите вы только на важную походку старого солдата и на его толстую, красную шею сзади!

Не забудьте пожалеть наши ноги. Они неестественно обуты в тугие ботинки, пять фунтов весом, подкованные железом, чтобы громко звякать о землю. На каждом шагу (а новобранцы должны маршировать на треть быстрее, чем обученные рядовые) мы должны резко топать каблуком, отбивая шаг: а на каждом повороте кругом — поднять ногу высоко и топнуть, топнуть, топнуть, три раза, прежде чем вытянуть ногу в новом направлении. От каждого удара о землю позвоночник вонзается в мозг, в котором скоро начинается тупая боль: и пятки горят огнем.

К тому же, если строевая подготовка проходит с оружием, то мы должны сохранять вертикальное положение вопреки противовесу — сковывающей движения винтовке в правой руке или на левом плече. Или же нам приходится помнить о трости, коварно гладкой и тонкой, которая так и норовит выскользнуть из наших пальцев, задубевших от холода. Еще нас заставляют

выкрикивать хором «раз-два-три-четыре», когда мы маршируем или делаем повороты. Это заставляет чувствовать себя дураком, а кроме того, это тяжело, ведь подбирать живот, раздувая при этом грудную клетку — это чуть ли не парализует легкие. Я могу с легкостью прошагать пятьдесят миль в день: и уничтожен после двадцатиминутного марша. Ох, тяжела наша жизнь, даже когда инструктором Таффи Дженкинс!

Мы начинаем в шесть сорок пять с гимнастики, после чего полностью одеваемся и строимся на завтрак в четверть восьмого. Предварительное построение и обязательное дефиле в столовку, двумя колоннами, слева и справа, отнимают столько времени, что у нас всего восемь минут, чтобы наброситься на пищу и чай, которые, к счастью, редко бывают горячими. Затем бегом в барак, чтобы за пять минут одеться, надеть ремни и почистить ружья: и в восемь десять мы построены для первого периода занятий.

После тяжелого часа с четвертью занятий нам дают десять минут передышки (хватает, чтобы справить естественные надобности, как и все остальное, на бегу. Мы мчимся в сдвоенные нужники и обратно, раздеваясь и одеваясь по пути). Затем следует второй период, почти до одиннадцати часов. В одиннадцать мы должны идти в школу, а это восемь минут быстрого шага. Наши инструкторы превращают их в показательный марш, причем из строжайших. Так что начало уроков не вызывает в нас радости: мы плюхаемся на парты и собираем дыхание для обратного путешествия — тоже марш-бросок, еще суровее, чем первый, потому что теперь дорога идет в гору.

Прежде чем мы вернемся, остальное население сборного пункта уже уходит строем на обед. Поэтому мы должны нестись в барак, хватать нож, вилку и ложку, и бегом, все еще задыхаясь, через плац, по четыре. После обеда мы наконец получаем полчаса в свое распоряжение. Я в это время отмываю свои грязные, грязные руки.

День похож на утро. Период строевой подготовки: час двадцать минут тяжелых занятий в гимнастическом зале: четверть часа перед чаем, чтобы сменить потные дневные рубашки на те, в которых мы спим. Нам не мешало бы сменить и штаны: участки хлопчатобумажной ткани вокруг пояса и карманы — липкие от пота: но у нас всегда одна пара. Конечно же, шерстяная часть не добавляет прохлады. И уже пахнет.

После чая лекция, и дважды или трижды в неделю пожарный караул, с сопутствующими ему работами. В остальные вечера я торопливо переодеваюсь в голубое (чтобы была иллюзия свежей одежды) и ловлю поезд до Бейкер-стрит. Какими бы толстыми ни

были подошвы моих ботинок, ощущение лондонской мостовой под ними божественно. Лондон — вне границы пропусков, и служащий военной полиции на местной платформе изучает наши билеты, когда мы высаживаемся. У меня сезонка со следующей станции дороги (законное место назначения), и я показываю ее. Персоналу станции нравится эта шутка, и он помогает мне обманывать полицию. Они все уже отслужили; а те, кто находится на службе — один большой союз против этих внутренних шпионов. Кондуктор рассказал мне, что в 1919 году последний поезд в субботний вечер напоминал общественный туалет — летчики блевали, мочились и дрались по всему длинному, раскачивающемуся вагону. Теперь здесь тихо, как в читальне, так изменились мы и Военно-Воздушные Силы. Обычные мужчины и женщины входят в наши вагоны без замешательства.

Кажется, будто у нас много свободного времени: но чистка и уборка занимают больше часов, чем следует. Новобранцев, которые не так ловки в этом деле, инспектируют куда тщательнее, чем летчиков на службе. К тому же у них и задача труднее. Чем старше снаряжение, тем легче его чистить. Мы достигаем относительных чудес с нашими новыми устройствами для чистки после надрывающих душу утомительных мучений. Может быть, это и правильно. Жизнь на службе не страшна уже тому, кто прошел через сборный пункт.

Вечером в этот понедельник, к примеру, когда нам предстояло выстрадать завтрашнюю инспекцию от Стиффи, случился пароксизм чистки обуви. Глянец и воск, холодные и горячие утюги, огарки свечей, жар из печки, горячая вода: кто-то добавлял жира в жидкость для чистки на спирту и запалил ее на огне: и все это, чтобы добиться гладкости и черного блеска упрямых носков ботинок. Мы все вместе бросились в эту работу; поэтому всем было досадно, когда трое сплоховали: по крайней мере, Стиффи был занят и отложил расправу, не сделав заметки; но капрал Джексон, наш всегда ровный Джексон, приговорил этих троих к работам вне очереди. Так печально окончился этот всеобщий порыв от всей души.

9. Школа

Мы считали шуткой слухи о школе и учителях: но вот мы затихаем в гулкой комнате, где между выступами сосновых парт утопают небольшие углубления, залитые чернилами, и получаем возможность снова вернуться в детское состояние. «Есть только одна вещь, — говорит Таффи, — которую BBC не могут сделать: заставить нас ходить беременными». Мы чувствовали и

одновременно боялись, что, если нашим новым властям взбредет на ум, они способны вернуть нас за парту.

Учитель был молодой, худой и мрачный штатский. Держа руки в карманах (какая вольность! Мы так не смеем) он стоял у возвышения, напротив карты Европы, и смотрел на нас. Мы приободрились. Мы ведь Военно-Воздушные Силы (Королевские!), не то что разные там штафирки. Габи решил, что должен заявить о своей мужественности, в которой кличка ему отказывает: поэтому он уронил свои книги, пролив чернила на пальцы учителю. Тот мгновенно проявил твердость. Габи приказали выйти вон, и он появился через минуту, подавленный, пряча от нас распухшую правую ладонь. «Будем уж слушаться этого засранца», — сказал себе каждый, присмирев.

Потом учитель заговорил с нами вежливо, с оксфордским выговором. Его любезность казалась серьезной, он предлагал нам сделать что-нибудь ради самих себя. С первого же предложения мой ум, занявшись анализом, почувствовал конфликт между его духом и противоположной стороной. Ради самих себя… а нас здесь учат слушаться приказов и ожидать приказов. Энтузиазму здесь не место. Та часть нашей душевной анатомии, которой больше всего достается от инструкторов — не леность, а слепое рвение, побуждающее сделать слишком хорошо. В этом тренировочном лагере нас низводят до состояния пассивных марионеток, реагирующих немедленно и автоматически, когда хозяин дергает за нитку.

И вот он, еще один хозяин, находящийся всего лишь по другую сторону Пинна, в секции М, говорит нам, что образование сделает нас достойными Военно-Воздушных Сил, и что оно исходит изнутри, вытащенное на свет нашей волей. Воля? Разве рядовым полагается воля? Они должны следовать воле сержантов. Где же Тафф Дженкинс? Он бросил нас, оставил на милость этого нового голоса, который продолжает разводить тут большевизм. У нас, мол, есть возможность потратить свободные часы, чтобы лучше приспособиться к гражданской жизни. Но эта жизнь уже далека от нас: а что до свободных часов, мы слишком отупели от муштры, чтобы заполнять их чем-нибудь, кроме сна. Вот он, один из таких часов, и эта учеба не так тяжела, как кажется. Будем надеяться, что ему нравится его собственный приятный голос, и он так и будет дальше гудеть над нами. Когда он говорит, кулак сжимается и разжимается у него в кармане, как змея.

Вот незадача: он раздает листы бумаги. Нам надо написать сочинение о том, что представляет собой наше обучение и чего мы ждем от него. «Опять эти хреновы сочинения», — бормочет кто-то с разочарованием. Он ходил, раздавая чистую бумагу, и,

наклоняясь к каждому из нас, что-то говорил. Неужели он не знает, что мы — команда, а не отдельные люди? Говорит с каждым по одному. Мне он сказал: «То, что вы напишете, никуда, кроме меня, не уйдет. Я хочу, чтобы вы доверились мне и рассказали полную правду о том, что я спрашиваю».

Рискнуть? В его голосе слышался подавленный интерес. Я взял ручку и написал, что с двенадцати лет я добивался ученых достижений и стипендий, поступил из школы в университет и кончил курс истории, чтобы стать соискателем ученой степени по политической теории. После чего я устал от абстракций, забросил эту жизнь и завербовался: и теперь не желаю никакого интеллектуального знания, мой ум уже слишком врос в обыденность барака номер четыре.

Прошел час. Мы построились в тишине коридора, раздирая ее мерзким скрипом гвоздей на подошвах. С трубкой в зубах Таффи поджидал нас, сидя на ступеньках. Мы изо всех сил зашагали, с пятки на носок, вверх по холму. Десять минут опоздания на обед. Одни объедки. Будь проклята эта школа.

В обед пришла почта, и письма разложили по кроватям. У Гарнера в письме были дурные вести — он разорвал фотографии, стоявшие на его тумбочке, и, зарывшись лицом в одеяло, начал плакать, как ребенок. Его сотрясали рыдания, которые отдавались в бараке, как залпы сигнальных пушек, и от этого было грустно. Мы держались от него на расстоянии, пока не раздался свисток — пять минут на построение. Он умылся, стирая с лица полосы от слез, и пошел в строй, ничего не сказав.

10. Наш инструктор

Сквернослов и валлиец с головы до пят — вот он, долготерпеливый сержант Дженкинс, щедрый на описания, щедрый на ругань, щедрый на похвалу. Его явно не обескураживают наши промахи, если мы стараемся: а у него отличный нюх на халтуру. Его занятия по строевой подготовке, говорят, так же хороши, как у старшего сержанта Джока Маккея, главного инструктора: знатоки даже предпочитают Таффи после пятой пинты. Наш отряд им гордится. «Мы Таффины», — говорим мы новобранцам, которым повезло меньше. Наша неделя мучений, до того, как он вернулся, подстегивает нас делать все, чтобы он оставался нами доволен.

Таффи пользуется некоторыми вольностями. На прошлой неделе, когда был церемониал, он прошагал через весь пустой плац к командующему Стиффи. На предусмотренном уставом расстоянии он остановился и отдал честь с завораживающим

совершенством.

«Разрешите идти, сэр!»

«Для чего, сержант?»

«Посетить сержантскую столовую, сэр».

«Для чего, сержант?»

«Чтобы выпить, сэр!» — выпалил Таффи. Стиффи отступил на шаг и дал ему пройти.

«Запишите его фамилию, сержант, — вопит Стиффи в другой раз, — того длинного в заднем ряду». «Записал, сэр». «Тогда второй раз запишите», — так как Стиффи любит своего старого товарища, они обмениваются своими проверенными временем шутками через весь плац. «Опять этот ваш длинный, сержант Дженкинс. Он ленится; он не старается. Дайте ему штрафной наряд». «Будет сделано, сэр!» «Это круглый дурак, сержант. Дайте ему два наряда». «Всю ночь продержу, сэр!» Стиффи уничтожен, и напряжение тоже.

Дылда, разумеется, никакого наряда не получает. Таффи не сторонник официальных наказаний. Галоп в подкованных ботинках по мокрой дороге под его крики, три-четыре синяка от его трости — это, по его мнению, послужит нам на пользу и не оставит на выходные затаенной злобы. Мы уважаем его острый язык, так что приняли бы от него и худшие побои. «Штрафной наряд, — фыркает он, — да если у вас хватит пороху на пять минут помимо того, что я даю вам на чай, пусть меня переводят учить бойскаутов». И, по-моему, он поступает честно, загоняя нас до изнеможения каждый день, это на пользу духу отряда.

Таких инструкторов, как Таффи, мало. Большинству из них неймется разевать рот на предмет инструктажа, и они не могут удержаться, чтобы не куснуть того, кто ниже чином; они кусают даже отряды инструкторов, которые младше их по званию, в полный голос священного авторитета. Это плохо для нас, червей земных: на нашу долю приходится остаток их обиды, как созданий слишком дурных, чтобы исправиться. Наша месть поневоле происходит за их спиной, украдкой — в виде проклятий, насмешек или передразнивания. Тот, кому сильнее досталось, громче всех выражает свой гнев; друзья молча его поддерживают, а остальные считают этот случай еще одним безличным эпизодом в общем счете. Все это, однако, проходит добродушно. Когда мы завербовались, то мало чего ждали, кроме дурно пахнущих букетов.

«Марш? — жалуется сержант Дженкинс. — Пачка потрошеных крабов: я им говорю — кричать, а они лопочут, как попугаи малокровные. Бог ты мой, ну что ж я такого сделал, чтобы заслужить эту ораву? — Он снова бухнулся головой в дрожащую

дверь барака и разразился притворными рыданиями, потому что увидел, что подходит Стиффи. — И что самое паршивое, сэр, ведь они же занимаются чертовски здорово, когда думают, что я за ними не слежу. Вот отвернитесь, сэр», — и Таффи развернулся тоже, выкрикивая нам уставные команды, а сам вместе со Стиффи слушал грохот наших винтовок. В конце концов Стиффи сказал: «Не так уж паршиво, как вам, сержант Дженкинс?» «Если меня спросить, сэр, — ответил Таффи безо всякого смущения, — вроде как толпа скелетов пляшет на железной крыше».

Но мы не можем по-настоящему гордиться так, как Таффи, своим большевизмом, зная в глубине души, что мы отданы на произвол любого сержанта, способного пнуть нас, безответных. Некоторые из нас малодушно признают эту слабость и бесстыдно жалуются по этому поводу. Другие пытаются, подгоняя свои стремления под стремления руководства, сохранить остатки добровольности. Они «будут» поворачиваться направо, когда сержант скомандует «направо», и все в таком духе. Жалкая претензия на утешение, по-моему, и вредная для дисциплины. Хороший солдат лишен самомнения, как дитя.

11. Раньше и теперь

Нам действительно стало легче. Этим вечером даже возродилось озорство в бараке, которое после того, как погасили огни, продолжили три разгильдяя, один из которых обладал пронзительным голосом Фейна с акцентом кокни. Достойна восхищения такая неуправляемая энергия после трудного дня. Однако завтра все мы поплатимся за это: дежурный сержант ворвался в барак, вернувшись с парада личного состава, и грубо приструнил нас. Это означает коллективный рапорт и ненавистное состояние наказанности. Помимо шума, его привлекла наша горящая труба. Фейн навалил угля в печку прямо в десять часов (когда, по уставу, огонь надо гасить), и сейчас ее красная крыша громыхает, а красная труба ревет от принудительного огня. При этом изменчивом свете я пишу свои заметки, очень поздно, но без комментариев со стороны: а моя бессонница стала уже потехой для всего барака.

Неправы те, кто представляет жизнь военных полной насилия. Для этого они ничего не принимают так серьезно. Двадцать лет назад — или семнадцать лет, что касается моего прямого опыта — там действительно царила грубость. Тогда каждый инцидент заканчивался спором, а каждый спор — либо кулачной расправой (сегодня это забытое искусство), либо казарменным трибуналом, приговором которого слишком часто

бывало массовое избиение любого, кто не походил на массу. В одном подразделении, чуть больше нашего отряда, я не могу вспомнить ни одного парада за три месяца, который не был бы украшен фонарем под чьим-нибудь глазом. Обычно пять из шести человек носили на себе боевые ранения. Эти ВВС по сравнению с ним — институт благородных девиц.

У нас даже хорошие манеры, если сбросить со счетов, как мерзко мы обзываем друг друга. Это не грубость, когда называешь кого-нибудь «чертовым засранцем» безо всякого повода. Он лишь бросит тебе в ответ «лживый ублюдок». Эти безобидные формы речи — свободный обмен между равными. В моем привередливом горле застревает божба и непристойности: поэтому я не могу разговаривать вполне дружелюбно для их ушей: и то, что я не отвечаю им, в своем роде ограничивает их ругань в мой адрес. Так что в нашей болтовне (в которой, кроме того, я раньше и не участвовал) между нами есть искусственное напряжение. Я ненавижу, когда мне помогают, поэтому их помощь мне — неблагодарный труд. Но, за этими исключениями, мы держимся ровно, дружелюбно и с пониманием. Я нахожу в них ответную мужскую доброту и природную искру, что сообщает мне рядом с ними странное чувство безопасности. Жить в бараке номер четыре — значит иметь твердую почву под ногами.

Наша жизнь в осязании — это мускулистая нагота, соединенная с такой искренностью порыва, которая (будь она различимой, намеренной и выраженной) могла бы с полным правом быть названа абсолютной. Но это немая жизнь. Словарь казармы состоит из слов саксонского происхождения, и отвлеченные слова слетают с их языка редко и беспорядочно, сильно отдавая типографской краской. Я подозреваю, что эти беглые жесты, разнообразие интонаций, эти непрерывные причуды тела проистекают отчасти из словесной бедности и высвобождают те самые эмоции, которые человек усложненный очищает, произнесенные или непроизнесенные, до состояния фразы.

Мы пользуемся вещами друг друга, если нужно, не спрашивая разрешения. Это просто здравый смысл. Тот, кто пользуется моей зубной щеткой, не причиняет ей вреда, который можно ощутить, увидеть или понюхать: а разве существуют какие-нибудь иные критерии? После вторника, когда пустуют все карманы, любой, у которого остались от выходных сигареты или медяки, естественно, делится ими или смотрит, как их делят. После платежного дня, в пятницу, все возвращается: более-менее точно, что касается сигарет; совершенно точно, что касается денег. Это не попрошайничество: в нем нет нужды. Кто посмеет отказать,

когда сам может очутиться в нужде на следующей неделе? В возврате денежных займов есть симпатичная стыдливость и пунктуальность. Точная сумма скользнет вам в руку, когда ваши и его глаза старательно избегают встречаться или смотреть на происходящее.

Мелкие кражи — простительный грех, что касается определенных товаров — вещевого довольствия, средств для чистки одежды, отмеченного снаряжения или потребляемых товаров вроде мыла. Личное снаряжение одалживают без зазрения совести (пока не найдется), но не крадут. Жертва топает вокруг в гневе, те, кто помогает искать, вторят ему громкими криками — и каждый, исключая виновного, от всей души желает сделать то же самое завтра, если сможет. Но здесь можно позволить себе лишь восполнять дефицит, а не держать запасы. Это вопрос пользы. К тому же, ни у кого из нас нет собственности, которой мы дорожим.

12. Переоценка

Когда вы в хорошей форме, плац — всего лишь тяжелая работа: но если вы чувствуете себя хотя бы немного хуже, чем хорошо, это очень и очень болезненно, это муки, переносимые день за днем, пока вы не поправитесь или не падете. Плац занимает теперь всю нашу жизнь. Мы не замечаем ни зимней реки, ни голых деревьев, ни сельской тишины лагеря.

Даже ради меня, главного из ее поклонников, луна больше не показывается. Последнее время она не сияла так ярко: шел дождь, и мокрая одежда — наказание для обитателей барака: было слишком холодно, чтобы слоняться без дела, а ведь лишь на досуге может человек наслаждаться луной. Но это — всего лишь оправдания. Причина в том, что теперь мы живем ради строевой подготовки, упражнений с оружием, маршировки, церемониала и гимнастики. Можно увидеть, как мы отрабатываем движения после поверки, в одних носках, между кроватями. Все разговоры наши — о строевой: все частные мнения мы потеряли. Только по вечерам мы иногда веселимся, и всегда шумим, собираясь вокруг печей, которые заставляем жарко гореть, набрасывая в них бурелома и краденого угля. Но слишком многие валятся спать в восемь часов, от усталости.

Между собой мы все еще с надеждой говорим о перспективе службы в ВВС, предполагая, что сборный пункт — это испытание, ради того, чтобы завоевать свободу для беспрепятственной работы, которая ждет впереди. Впереди должно быть лучше, иначе, если бы все летчики тратили время так, как мы,

английский воздушный флот уже успел бы обанкротиться. Мучительное нервное напряжение постоянного наблюдения, проверок, унижения, наказаний казарменной жизни выжгло из нас каленым железом последние остатки рвения: или, скорее, прикрыло его, ведь, как я подозреваю, в конечном счете мы вновь обретем свои врожденные «я» и втайне вспомним наши мечты.

Нобби несчастен. Мы не оставляем его одного, боясь, что он собирается покончить с собой. Дылда поговаривает о том, чтобы выкупиться, потому что он слишком расхлябан физически, чтобы уследить за руками и ногами на занятиях, и потому вечно попадает под наказания. Шестеро в госпитале: но сорок остальных полны неустрашимой стойкости. Мы держимся вместе, доверяя друг другу во всем, кроме дележки еды за столом. Тогда вмешивается голод; и летчики легко поддаются недоверчивости, долгое время пробыв в бедности, которая пробуждает подозрения, лишенные великодушия. Большинство из нас неосознанно дает себе поблажки, когда мы делимся: исключая случаи, когда я стою на раздаче и сознательно урезаю себя. В этом нет никакой добродетели. Как леди Шалотт[27], я предпочитаю видеть мир сзади в зеркале.

Мы ворчим на пищу, и ворчат громче всех те, кто прежде никогда не имел еды вдоволь, да и та была плохо приготовлена. Такое брюзжание — часть всеобщих притязаний на благородное прошлое. На самом деле сырье отличное, а приготовление — все, чего заслуживают летчики. Мы набрасываемся на свой кусок, как волки, слишком поспешно, чтобы расценить вкус. Так же точно те, кто пришел сюда в лохмотьях, больше всех жалуется на дурно сшитую и ветхую форму; в то время как другие считают ее отличной, если вспомнить, что нас одевают даром. Уайт стал портным в нашем бараке (его отец и мать торгуют поношенной одеждой), и за недельный тариф, который допускает наш заработок, он утюжит складки на наших брюках до остроты ножа, как требует Стиффи.

Наш разговор — о кино или о футбольных кубках и лигах, если не о лавке. В тот день, когда распалось коалиционное правительство, я лежал и слушал, пока не погасили огни, и услышал много о «Челси» и «Арсенале», но ни слова о Ллойд-Джордже[28]. Иногда (и это лучше всего) люди делятся тайнами своих ремесел; монтеров и электриков почти невозможно понять, но они так живо рассказывают, что заразительны, как еврейские торговцы, болтающие на идиш.

Стесненное существование пробуждает противоположные стремления. Они щупают мои книги, а те, что на иностранных языках, рассматривают так, будто в них заключен какой-то шифр,

способный их обогатить. На мой относительно просвещенный суд они несут мелкие вопросы по религии, естественной истории и науке. Я нахожу достойными жалости эти затруднения, вызванные недомыслием и необдуманностью: но так же часто они пугают меня гранитной уверенностью в истоках своих позиций. Идея (к примеру, о нормальности брака, предоставляющего человеку естественного, дешевого, надежного и согласного партнера по постели), если они воспитаны в ней, воцаряется уже к двадцати годам и становится неоспоримой, просто в силу привычки. Они предпочитают покорную веру активному сомнению.

И все же ключом к четвертому бараку остается смех, журчащий на нашем мелководье. Везде шум — игры, шалости, болтовня, советы, помощь, совещания, признания, жалобы: и смех, даже за самыми серьезными делами. Шум стоит адский. Наш джаз-бэнд — в своем роде шикарный, потому что Мэдден ведет его своей мандолиной. Его поддерживают угольные ведра, пожарные корзины, пять гребенок, обернутых папиросной бумагой, два совка, дверцы печки, пять заслонок и случайные голоса. Чем громче шум, тем громче они поют, тем больше прыгают по кроватям, состязаются в силе на руках, делают прыжки и захваты или борются, катаясь по полу, вокруг окованных железом ящиков. Едва ли хоть один вечер проходит без веселого кровопролития.

13. Еще немного

Сегодня открывается наша третья неделя на плацу; все и вся ужесточается по отношению к нам. Таффи предупредил, что нам достанется, если Стиффи с этих пор уловит хоть толику неловкости или замешательства в наших движениях. Капрал Хеммингс взял нас на утреннюю гимнастику. Мы халтурили при нем, и не мы одни. Все поголовно рекруты его недолюбливают, и, когда он командует, весь плац становится вялым. Мы не любим его, поэтому не заботимся о его ругани или похвале.

Стиффи пришел на первое занятие и заставил нас в быстром темпе представить ему почти что весь устав строевой. «Многообещающая команда», — потом сказал он сержанту, отведя его в сторону. Чтобы намек на похвалу нас не расхолодил, он стер со своего лица и из своих манер любые знаки удовлетворения. Когда он впервые прошелся взглядом по нашему отряду, то внезапно остановился. Он послал Гарнера и меня в задний ряд и пригрозил сержанту Дженкинсу, что будет худо, если кто-нибудь белобрысый снова появится в переднем ряду. «Белые волосы —

бледный вид, — сказал он. — Такие парни всегда первыми бегут, когда случится заваруха». За десять минут восемнадцать фамилий были вписаны в список штрафных нарядов. Разумеется, мы их не выполняем; но Стиффи, не знающий об этом, ушел, потирая руки — утро прошло не зря. Мы свои руки потирали уже после того, как он скрылся из вида.

Со мной случился острый приступ малярии, и большую часть дня я провел, как в тумане. Поэтому я запинался и едва волочил ноги. Соседи с каждой стороны присматривали за мной, и задний ряд смешался. Капрал Харди очень мал ростом и не мог видеть этого, не поднявшись на цыпочки. Да и наплевать ему было сегодня, правильно ли мы выполняем команды. Он был зол, потому что Стиффи устроил ему разнос за то, что он вечно тренирует нас в правой стороне площадки, где за зданием кухни мы теряемся из вида.

В три часа у него были еще большие неприятности из-за того, что он задержал отряд на десять минут при стрелковой подготовке. Он отдал честь и проорал: «Есть, сэр!» — с громкой радостью, как будто ему оказали милость, когда Стиффи пообещал, что доложит о нем в рапорте. Пять минут спустя, когда мы маршировали к гимнастическому залу через пустой плац, капрал отрывисто крикнул: «Равняйсь!» — для Стиффи, который рассеянно изучал доски объявлений на главной дороге. Это было открытое нахальство, но Харди в это утро пытался отделаться от своей должности, чтобы убраться со сборного пункта, на который жизнь обрекла его после дела с Бенсоном. Адъютант не давал ему ни перевода, ни возвращения, и Харди готов был пакостить.

Следующее, что я помню — меня разбудил Кок, когда я лежал в постели, исходя потом под одеялами семи человек. Свет в бараке был еще не погашен, и он принес мне жестянку чая и горячую сосиску в тесте. «Жрать пора!» — крикнул он раскатистым моряцким голосом мне в ухо, так, что в нем звенело потом еще несколько минут.

«Это все зачем?» — глупо спросил я.

«Да ты был помятым малость, дружище», — он поскреб щеку.

«А который час?»

«Обход уже давно прошел». Через три минуты раздался второй сигнал отбоя. Пришел Моряк, чтобы взять у меня «Дон Кихота», — предлог, чтобы сесть на кровать и спросить, доложусь ли я утром, что болен. Моя лихорадочная дрожь всех напугала. Моряк был одним из тех, кто раздевал меня после гимнастики, которую, видимо, я прошел без комментариев со стороны инструктора.

Что меня беспокоит там, когда я в порядке — отчасти

физическое отторжение (я ненавижу обманывать свое тело, даже по приказу) и отчасти страх. Вопрос, который я задаю себе столько раз, сколько думаю об этом, а гимнастика у нас теперь дважды в день — даже не о том, сломаюсь ли я на ней, а когда именно это произойдет. Переломная точка всегда рядом; и однажды отвращение нанесет мне сокрушительный удар. Нервное ожидание этого момента подстерегает меня за каждым углом и подтачивает мои силы. Физически я достаточно силен, чтобы положить на лопатки любого в моем весе из всего барака. Только они-то любят гимнастику, а я питаю к ней отвращение. Они щупают и разминают свои проворные тела даже в свободные часы, радуясь им.

14. Церемониал

Программа занятий изменилась. Мы занимаемся гимнастикой в первый дневной период, перед самым обедом: а остальное время тратится на церемониал. Стиффи готовится к службе у кенотафа[29] в следующем месяце: лагерь всегда поставляет контингент ВВС, чтобы участвовать в построении в Уайтхолле, где возлагают венки короли и принцы: говорят, что новобранцы лучше выглядят на параде, чем летчики, проходящие службу — те, бывает, уже несколько лет как позабыли, что такое строевая подготовка.

Наш сержант злится на эту новую программу. Он находит обычный трехмесячный курс достаточным, чтобы как следует утвердить свои отряды в строевой подготовке (а мы в итоге занимаемся ею всего пять часов в день; остальное — школа, изучение сигналов и лекции), и влияние кенотафной практики торпедирует все обычные инструкции. Мы, сырье, не слишком скорбим от этого.

Капрал Хеммингс снова наблюдал за работой в гимнастическом зале. Он, как обычно, гонял нас, будто рабов; и снова вся команда упиралась и держалась заодно, так что его гнев низвергался на кольцо склоненных спин и не находил отдельной жертвы. Он новичок в своей работе и знает мало упражнений: вместо этого он повторяет каждое по три раза, чтобы заполнить свой час с четвертью, и не дает нам передышек, чтобы главный инструктор не мог отметить, как у него люди болтаются без дела.

Гимнастика закончилась: но капрала Харди не было у дверей зала, чтобы отвести нас строем обратно в казарму. Когда его нет, иногда Моряк берет отряд на себя. Он устраивает порядочную клоунаду со своими командами («замри!» вместо «смирно!» и «двойки на четверки!» — наследие американской армии во

Франции). Возможно, голос Моряка идет не столько от смешливости, сколько от упоения жизнью. Какая-то сумасшедшая радость, кажется, захватывает нас, когда он ведет нас строем. Но он может делать это, лишь когда нет Стиффи — к чаю и вечером.

Так что мы пять минут ждали капрала, который находился за столовой. Он вышел, вытирая губы. Мы сообщили ему, как он запоздал, и он погнал нас бегом пятьсот ярдов до барака. Это показалось нам тяжеловатым — сразу после гимнастики и в походных ботинках. Другие отряды уже построились на церемониал: мы поспешно обернули обмотки вокруг ног, похватали снаряжение и винтовки и помчались за ними. Стиффи наказал нас за опоздание еще одной пробежкой, в полном снаряжении, как мы были, до главных ворот и обратно. Неужели каждый здесь обязательно должен насладиться тем, что пнет нашу немую униженность?

Парад был ужасным зрелищем, но стойкость дирижера оркестра оживила его. Стиффи был недоволен первым тактом, когда начальный аккорд должен был обозначить первый шаг. «Еще раз, дирижер. Это не пойдет». Старшина, который уныло стоял позади Стиффи и ловил каждое его движение, откликается эхом: «Еще раз, дирижер!» — на конце фразы он взвизгнул дискантом, подобно валлийским плакальщицам.

«НЕТ — НЕ — ТАК!» — взревел Стиффи снова, яростно отбивая каждое слово. Старшина развернул свои длинные, будто деревянные, ноги, и побежал, чтобы снабдить дирижера еще одной парой рук, помогая дирижировать. Огромные бегущие ноги, как поплавки на конце лески, шлепали по лужам. Мы поглядывали туда уголком глаза, предвкушая потеху: эти двое друг друга терпеть не могут.

«Ну, теперь оба вместе: Военно-Воздушные Силы, в центр, шагом марш! СТОП, СТОП, СТОП!» — Стиффи так и плясал от неистовства. Медные инструменты пошли за дирижером, а барабаны последовали за старшиной. Беглая улыбка промелькнула по пятистам напряженным лицам рядовых.

Стиффи пошел к оркестру. «Так; оркестр, готовьсь — раз, два, три!» — и все разом выдали грандиозную какофоническую ноту, кто во что горазд. Стиффи просиял. — Вот так, дирижер!» «Да, сэр, именно что вот так, — согласился дирижер, слишком пылко, отворачиваясь на минуту от полной фигуры Стиффи. — Ну, а как еще оставалось?» — почти неслышно добавил он через десять шагов.

Мы были забыты, пригвожденные по стойке «смирно» все это время, пока великие мира сего проводили эксперименты. Черный восточный ветер холодил пот на наших лицах. Воодушевление,

казалось, испарилось из отряда, оставив нас бесполезными. Мы не могли идти ни медленным шагом, ни быстрым шагом, ни менять направление. Мы даже путались, когда разбивались с четверок на двойки и с двоек на четверки. Дылда подвел меня на одном повороте, поскользнувшись на банановой корке. Его длинное тело упало поперек моего пути. Я попытался сразу перепрыгнуть его, но приземлился на подвернувшуюся щиколотку и полетел вниз головой. «Сержант Дженкинс, — взревел Стиффи, красный от гнева, — отведите этих двух идиотов за душевую и вздрючьте их там». «Будет сделано, сэр!» — проорал Таффи, на миг счастливый. Но это было лишь минутное облегчение. Когда прошел час, условия ухудшились. Сержант, обычно терпеливый и добродушный, весь день ругался и надоедал, лупил своей тростью до боли, назначал настоящие наказания. Напрасно. Мы были неизлечимы. Это утешило меня, так как до сих пор я был единственным, кто до смерти уставал и чувствовал дурноту после гимнастики, а эти ребята уверяли, что любят ее: но здесь и сейчас она их доконала, хотя инструктором сегодня был Хеммингс, которому мы служим лишь на словах.

Вчера сержант Каннингем взял нас, его знание дела и приятная проницательность побуждала нас работать, как звери. Под конец мы запыхались, но были счастливы. Впрочем, то еще счастье: в моем случае оно едва пережило приступ рвоты, который это перенапряжение приносит мне, как по часам, во время чая. Это выташнивание каждого ошметка моего обеда, дважды или трижды в неделю, для меня утомительная помеха; хотя от усилий беззвучно блевать в уборной, чтобы другие не слышали, горло мое уже стало железным.

Я доказал это поздно вечером, когда завязалась драка. Диксон повалил меня на кровать и стал душить. Я выставил подбородок, как научился в Порт-Саиде, и так мои напряженные мышцы могли держаться несколько минут против хватки его пальцев в полную силу. Наконец он внезапно уперся коленом мне в живот и другой рукой применил «яйцекрутку», прием нашего невежливого кодекса борьбы. Держишь их крепко и мнешь в руке. Будь ты хоть из железа, нельзя вынести такую боль хотя бы шестьдесят секунд.

Я вопил, прося пощады, когда трость Таффи проскользнула между нами и пронзила Диксона прицельно в чувствительное место под мышкой. Он скрючился рядом со мной на кровати. «Это что еще тут за развлечения?» — спросил Таффи, зашедший обсудить завтрашний церемониал и сгладить сегодняшнюю неудачу. «Да я его учу, — соврал Диксон, пришпоренный необходимостью. — Вчера, когда мы шли по городу через

трамвайные пути, должен он был держать шаг? Должен, мать его?» Я кашлял и отплевывался, слишком беспомощный, чтобы опровергать необоснованную клевету. «Ты это засунь себе куда подальше, — парировал Таффи. — Вон там Габи, мушка моя навозная, моя сладкая постельная мечта. Иди ее учи, а Росса не трогай. А ты, сынок, подрасти немного, прежде чем с Диксоном тягаться».

15. «В нагрузку»

Мы проводим часы за семафором, в дни, когда нет тумана, высыпая на все склоны долины, чтобы сигналить друг другу всяческие непристойности. Ребята не знают, как пишутся эти слова, и передают их фонетически, потому что никогда в жизни не видели их в печати. Военно-Воздушные Силы за пределами сборного пункта не используют семафор: поэтому мой мозг помнит его не лучше, чем сойдет для проверки в конце курса. Вот еще один Эвклид для олухов-новобранцев, пища для мозгов. А ведь парни, выросшие на улицах, не могут позволить себе быть тупыми.

Школа тоже бессильна после сборного пункта. В эскадрильях нет обязательного образования. Так что жажда знаний покинула и эти часы. Да эта жажда и не была жгучей. Я читал «Фауста», что было приятно: но поход туда-обратно стал той самой соломинкой, что взвалили на наши спины поверх дневных парадов.

Мне жаль учителя, которого, в конце концов, победили физические обстоятельства. Он держался так храбро в чуждом стане и избегал вести себя с нами, как офицер. Он даже избегал положения официального лица, разве что не мог преодолеть третий барьер и перестать быть штатским. Штатские — это создания, от которых мы чувствуем странную отдаленность, которую мы же сами и подчеркиваем, в кольце нашей ограды. Каждый новобранец чувствует, что за ним следят, его выставляют напоказ, поднимают на пьедестал: везде, кроме школы, которую нам и хотелось бы полюбить, как дань дружелюбию учителя: но это утомительное расстояние и это ощущение траты времени, которое приносится ей в жертву, как и семафору!

По-моему, тратятся впустую и часы, отданные обучению авиационному делу. Его у нас ведут офицеры на испытательном сроке, а они не вкладывают в это дело достаточно сил, чтобы соответствовать нашим требованиям. Теперь у нас почти вошло в привычку стараться изо всех сил. Некоторые из нас кое-что подчитали по аэродинамике; так что мы ожидаем от офицеров

еще больших знаний. Служивые ставят высокие требования перед офицерами. Но на первой лекции в мрачном ангаре, продуваемом сырым ветром, у каркаса заточенного здесь истребителя «бристоль», старший лейтенант Хейнс спутал снижение с поперечным V крыла. Хордер и я, неподвижно стоя там, как все остальные, тайком перемигнулись. Кап, кап, кап — падал голос Хейнса, такой же сырой, как ветер.

Потом было еще хуже, двадцатого октября, когда еще один молодой офицер замещал Хейнса. Он похлопал по коробке, где находится планетарная передача[30], своей тростью и легкомысленно заявил нам: «Это вот — привод Константинеско. Не стану забивать вам головы, объясняя, как он работает, но поверьте мне на слово, что он переворачивает винт, чтобы увеличить скорость двигателя вдвое[31]». Наш Аллен, выросший в деревне, был стрелком в авиации. Я увидел, как от таких новостей его ноги подкашиваются, а уши медленно краснеют. Он наклонился вперед и начал: «А…», но я вовремя оборвал его пинком. Было бы нетактично выставлять офицера на посмешище перед такой толпой новичков, как мы; но это преступная небрежность. ВВС претендуют охватить приказом то, как мы садимся и как встаем, как ложимся и как ходим. Soit[32]: но пусть их руководство будет наилучшим. Мы отдаем ему самих себя, наш последний дар.

К несчастью, капрал Харди увидел, как я пнул Аллена, и привлек меня за дурачества в строю. Приговор мой был суровым. «Видел я уже вас, не так ли? — сказал полковник. — Нечего сказать в свою защиту? Тогда я выставлю вас примером. Считайте, что вас предупредили». Так что я теперь жалею себя по вечерам, до и после часовой возни с полной выкладкой на плацу: откуда, в липком поту, я влезаю в комбинезон и оттираю где-нибудь пол для дежурного капрала (обычно это его спальное место или дневной кабинет), пока он не соизволит меня отпустить.

Не раньше десяти часов мы, штрафники, заканчиваем вечер. Это сокращает мои записки, но ничто не может сократить мой день и эту отупляющую жалость к себе. Я хотел бы побороть ее: но, в то время как мое тело закалилось здесь, на сборном пункте, налившись мышцами всех видов в неиспользованных местах, мой стоицизм и молчаливость постепенно угасают. Я начинаю выбалтывать товарищам то, что чувствую, прямо как любой другой парень.

16. Неповиновение

Неурядицы на беговой дорожке после обеда. За наш счет. Комендант привел тренера со стороны, чтобы готовить отряд для пешей эстафеты на пять кругов: а сержант Каннингем, хороший физкультурник, не знал, что тот придет. Они сцепились и у всех на виду поскандалили. Дело было представлено офицеру, ответственному за физическую подготовку, и Каннингем проиграл. Поэтому, после того, как мы отшагали столько, что чуть не ослепли на оба глаза, он решил еще закончить занятия по гимнастике, чтобы сорвать на нас свой гнев.

Он вел нас беглым шагом снова и снова по треугольнику, а не по дорожке для ходьбы. Затем он стал запутывать нас, внезапно начиная и внезапно же останавливаясь, так, что мы спотыкались и падали. Это все равно что «пилить» удилами рот лошади, то натягивая их, то отпуская. Мы скоро уже ковыляли, не в силах внять самым пронзительным его ругательствам.

К чаю остальные заметно оклемались: но меня вырвало, когда я одевался на шестой штрафной парад, и снова (уже на пустой желудок), когда я пришел с него. Сержант Уолтер ужасно нас гонял, так, что у следующего за мной пошла носом кровь; но я, кажется, стал уже бесчувственным к бедствиям других. Сейчас десять вечера, и я слишком выдохся, чтобы раздеваться: первую ночь здесь я сплю в одежде. И в этом комбинезоне. Каннингем напоследок пригрозил завтра нас выжать до дна. Если он это сделает, видимо, это будет моим Ватерлоо. Ровно пять лет с тех пор, как я был так же сломлен. Дураком я был, когда пытался снова стать мужчиной.

Следующий день. Сержант Каннингем отсутствовал; уехал на выходные, как сказали, и оставил капралу Хеммингсу приказ нас доконать. Как бы то ни было, Хеммингс привел нас из гимнастического зала на густую траву за столовой, и там заставлял бегать, прыгать «руки скрестно, ноги скрестно», разворачиваться, отжиматься час с четвертью без передышки. Ни одно из его усилий даже не пыталось быть гимнастическим упражнением — лишь измывательство, злонамеренное и подлейшее. Только он-то не знал, как по-настоящему измучить человека. Мы отвечали, как могли, и так ловко симулировали, что длинный промежуток времени отнял у нас мало сил. Что касается меня, я даже не очень вспотел; в то время как обычная дневная порция, выполненная на совесть, превращает меня в совершенно антисанитарный объект до холодного душа перед сном.

Хеммингс вышел из себя, видя, как мы смеемся и вызывающе скачем по траве. Дневное время стало поединком между ним, всегда нападающим, и нами, которые парировали его удары, притворяясь, что просто забавляемся. Нельзя заставить пить

пятьдесят лошадей: так что мы легко победили: и закрепили нашу победу, когда приплелись к парадному плацу, опоздав на двадцать минут к церемониалу Стиффи. Стиффи расхаживал взад-вперед (мы — ведущий отряд), посылал гонцов, которые напрасно обыскивали гимнастический зал, не находя там наших следов. Нашего капрала чуть не разразила молния, когда мы наконец появились; но тот вовремя переложил вину на капрала Хеммингса, и за ним спешно послали, и разнесли в хвост и в гриву на виду у всех за превышение полномочий. Стиффи не мог знать, что, пытаясь сломить нас, капрал исполнял приказ.

Дурное это дело — такое сведение счетов. Все отряды говорят об этом сегодня вечером, и публичная известность вынуждает наш барак проходить через это, уклоняясь и отражая атаки. Это первый парад, который мы постыдно провалили, но обстоятельства нашего провала делают нас бодрыми грешниками. Тем не менее, это злое и соревновательное торжество, которое могло бы легко стать заразительным, не будь мы более умеренны в своей победе, чем эти болваны инструкторы, бросающие друг другу открытый вызов.

Моряк сегодня, в пятницу вечером, был слегка навеселе. Он пришел из пьяного бара и потащил Кока на трибунал за содомию. «Он бросил полкроны, сэр, на пол туалета перед мальчишкой из оркестра. Остальное можно понять». Но Хордер не обладал обходительностью Китаезы, о котором мы в последнее время тоскуем, в качестве председателя суда. Так что веселье увяло.

Только не для Моряка. Внезапно он схватил Кока и борцовским приемом перебросил все тринадцать стоунов[33] его веса через плечо. Кок развернулся и выпрямился, оседлав его шею. Моряк доковылял до ближайшей кровати за его коленями и рухнул на нее со своей ношей. Трое, четверо, пятеро других прыгнули на них. Из этой кучи-малы донесся его веселый удивленный возглас: «Эй, что там за дрянь в кровати?» — и показалось жалкое лицо малыша Нобби, выкарабкивающегося из-под них, вялое и отупелое со сна. Это напомнило мне Зигфрида в хватке Фафнира[34].

Они распутались. Моряк поймал Нобби за шиворот сильной рукой, а другой стащил с него трусы и носки, одним движением, как перчатку. Маленькие, желтые, как у птенца, ноги отчаянно замолотили по воздуху. Кок усмехнулся, схватил у кого-то банку ваксы и тремя быстрыми взмахами щетки раскрасил его штуки угольно-черным. Гром аплодисментов. Нобби ушел, чертыхаясь, в темную холодную душевую. Оркестр грянул «Господь, в веках ты помощь нам[35]».

Вошел Уайт с чаем и песочным печеньем для Моряка, тот

забрал их, накрыл чашку печеньем, ловко ее перевернул и крикнул: «Элементарная, бля, наука». Кок снова вскочил ему на спину. Разбита чашка, разлит чай. Джаз запел в проходе, где Кок поскользнулся. Одно слово, и Моряк вдавил ему голову в грудь. Кок одним прыжком оказался у него на плечах.

Моряк заковылял вперед. «Мы идем, мы идем», — заорал он; наша грязная пародия на известную балладу. Кок рухнул на пол так, что чуть все кости не переломал. «Пришли», — сказал он едва слышным шепотом, когда вслед за падением наступила тишина. Наша мандолина разразилась этой песней, и расстегнутый балет хрипло подхватил ее, сверкая животами. «Стар», «Ивнинг Ньюс», «Стандард»!» — взвыл Мэдден, когда-то бывший газетчиком. Теперь барак был охвачен пламенем.

Я лежал на спине, чувствуя, будто врастаю в кровать, когда-то казавшуюся жесткой. Сегодня вечером был мой седьмой и последний штрафной наряд, и лишь на мгновение могу я теперь осознавать нелюбезную свободу, которая ждет меня завтра. Рядом со мной голос Кортона, хлопающий, как маслобойка, поднимался до скрипа, чтобы его длинный рассказ о неудавшемся мошенничестве мог достигнуть слуха Хордера, через две кровати и через весь этот шум.

17. Еще один шанс

Утром мы пошли на первую гимнастику, препоясав чресла и готовые, если кто-нибудь атакует нас, принять бой. Идиот Хеммингс снова ополчился на нашу компанию: но дежурный офицер, который подошел выяснить, в чем дело, резко послал его обратно, исполнять его прямые обязанности наблюдателя. Раунд за нами.

Дневную гимнастику вел капрал Смолл. Мы встретили его с напряжением, но он стянул с себя свитер и стал сам показывать упражнения. Мы увидели, что он вовлечен в это дело всей душой, а не по злой воле. Поэтому мы вели честную игру и разорвали этот порочный круг. Он продержал нас всего сорок минут, а затем сказал: «До последней недели вас называли шикарным отрядом. Не моя вина, что это не всегда так. Беру вас на будущее. Теперь разойтись, и занимайтесь сами на снарядах до конца занятия».

Минуту спустя гимнастический зал стал похож на зоопарк, где летчики висели на турнике, взбирались по канатам и лезли по лестницам не с той стороны, под улюлюканье. Я давал отдых ноге, растянутой в подъеме, и перебирался по шведской стенке на руках. Прошло десять минут. «Покажи нам «солнышко», — упрашивал Моряк, которому я в бараке пытался рассказать, как

делается этот эффектный трюк. Какой-то бес хвастовства обуял меня. Я вскочил, с внезапной уверенностью, на турник, и со второго бешеного рывка мне это удалось. Шалости резко прекратились. Поскольку физическую силу можно измерить линейкой, англичане излишне уважают ее. Я нахожу, что вырос во всеобщем мнении сегодня вечером.

18. Публика

Еще одна монотонная, злополучная служба в церкви, под серым холодным дождем, от которого ржавеют наши штыки и становится неуютно в нашей одежде. Этот аппарат парадной службы настраивает против себя и превращает в богохульство ту хрупкую надежду, которую организованное богослужение когда-то имело над энергичными людьми. Наш род опасается и презирает нечто немужественное в аскетическом лице падре. Он, кроме того, попадает мимо цели, когда пытается вселить в нас мысль о нашей греховности. Они пока еще счастливы, не ведая рефлексии, которая и создает чувство греха.

Контакт с естественным человеком побуждает меня сокрушаться о суетности, во власть которой мы, люди мыслящие, отдаем себя. Я отстраненно смотрю, как мои пальцы сжимаются, когда я в страхе, и как я улыбаюсь, и говорю «Бабинский[36]» — оценивая, как уношусь вслед за инстинктом, или прокладываю путь разумом, или решаю интуитивно: всегда неустанно каталогизирую каждую сторону своей единой сущности. Совсем как глупые ранние христиане, с их Отцом, Сыном и Святым Духом, тремя сторонами Бога в Символе Веры, исполнение которого сейчас нам приходится выстаивать.

Ненасытное время отняло у меня, год за годом, большинство пунктов Символа Веры, пока сейчас не остались три первых слова. Их я произношу с непокорством, надеясь, что разум, может быть, завязнет в новой деятельности, когда услышит, что есть еще часть во мне, которая избегает его власти: хотя путем мышления так же трудно отнять хоть дюйм от нашей сложности, как и добавить.

Вот он снова, конфликт ума и духа. В то время как люди здесь настолько здоровы, что не превращают свое мясо в фарш для легкого переваривания умом: и потому они так же нетронуты, как мы, изъеденные болезнями по этой же причине. Человек, который рождается как единое целое, раскалывается на маленькие призмы, когда мыслит; но, если он проходит через мысль к отчаянию или пониманию, то снова на какой-то миг ощущает единство с самим собой. И это не все. Он может достичь единства с самим собой среди своих товарищей, и в единстве их с

неодушевленными предметами их вселенной; и всех вселенных — с иллюзорным «всем» (если он позитивист), или с иллюзорным «ничем» (если он нигилист), смотря какова окраска его души — темная или светлая. Святой и грешник соприкасаются — так же, как великие святые и великие грешники.

После церкви нам в кинозале прочли лекцию о сберегательных сертификатах, рассказывая, что мы порадуемся деньгам, когда покинем службу и встретимся с гражданской жизнью. Ну, знаете ли, мы завербовались сюда, потому что потерпели неудачу в этой самой гражданской жизни! И нечего нам напоминать об этих трудных временах с их денежными неурядицами. На семь лет мы избавились от них и можем даже позволить себе содержать мотоциклы, на которые весь наш барак копит шиллинги.

Лектору похлопали, и он покинул кинозал: но нас все еще удерживали на местах. Наконец появился Стиффи, поглаживая усы; он взошел на возвышение с деланной усмешкой. Мы хлопали, как черти. Самоуверенность его сгустилась в ухмылку, которая предполагала, к несчастью, старательное, подмалеванное обаяние дешевого профессионала. Он прошествовал к центральному стулу у стола и устроил небольшую клоунаду, якобы удивившись тому, что экран простирается у него над головой. Мы смеялись и кричали.

Тогда он сказал, что давно уже не выдавал нам своей ежемесячной порции ворчания: и, приступив к делу, начал очернять женщин как помеху телесной доблести мужчины. «Я хочу, ребята, чтобы вы задирали нос, когда выходите на улицу». (Как об стенку горох: чем старше летчик, тем больше он стыдится своего диковинного наряда. Это новобранцы способны красоваться на публике). «На прошлой неделе, около Шепердсбуша, я поймал летчика, не с этого сборного пункта, который ел «море и сушу» (рыбу с картошкой) на улице с лотка. Вот такие разгильдяи — самая легкая добыча для дурных женщин». (Оживление в задних рядах. Дурные женщины преследуют нас во всех романах: а мы больше читаем романов, чем встречаем женщин).

Все это было проделано непринужденно, хорошо сделано и приправлено сальностями из личного опыта, взывающими к нашей вульгарности. Вся речь пропахла вульгарностью. Мы хлопали и встречали каждую остроту сальными смешками мужского бара: смешками, в которых таилось осмеяние чего-то желанного, того, что может так открыто вызывать нашу привязанность.

Стиффи пал еще ниже, когда начал оправдывать свою

привычку к гневу и ругани на плацу, убеждая ребят не быть тонкокожими и не упираться против того, что послужит нам лишь на благо. Если все это — намеренная политика, то он сам свидетельствует против себя. Мы готовы смириться с тем, что считаем всего лишь несдержанностью характера. Теперь я увидел, как его образ нисходит до нашего уровня; хотя после этого мы можем и полюбить его, с фамильярностью, как одного из своих.

Здесь, разумеется, его место. Стиффи — старый служака, продукт более суровых дней, чем сейчас, предвоенных дней, когда еще существовали невежественные классы. Жаль. Мы предпочли бы наших офицеров, не слишком искушенных — или, по крайней мере, не обнаруживающих своей низменной искушенности: офицеров, столь отличных от нас, что они не вызывают нас на сравнение ни в чем. Высокие, смутно различимые, редко появляющиеся существа, расточительные и величественные. Божества рядом с нами, червями земными.

19. Одиночка

Стиффи сегодня взял наш отряд на второй утренний период. Это было чудо компетентности. Его команды поступали так четко, что им было приятно повиноваться. Он более толковый инструктор, чем командующий парадом. У нас была передышка каждые пятнадцать минут, и он, когда повторял отработанное, старался рассказать, каких улучшений от нас ждет. Еще до того, как он ушел, мы успели простить ему провальную лекцию на последней неделе. Он слишком безупречен в строевой подготовке, чтобы его мог презирать тот, кто носит форму.

За свое проворство мы теперь отмечены как первый из успешных отрядов; и мы ведем весь церемониал при кенотафе. Сержант Дженкинс хорошо сохранился, а быть под его началом очень полезно. Когда он напьется, в нем проявляется непредсказуемость и замашки диктатора, но мы не считаем это за оскорбление. Однажды мы были даже рады ему помочь. Мы шли на плац, когда он в отчаянии прошептал ведущим колоннам: «Ради Христа, следите сами за собой. Я с такого бодунища, что не вижу даже, где вы есть».

Это была правда. Он еле на ногах держался: но мы провели занятие с таким напором, что Стиффи не заметил ни единого промаха. Таффи — экземпляр исчезающего вида, старого сержанта из плоти и крови, существовавшего со времен Смоллетта до 1914 года, который должен исчезнуть вместе с классом, из которого вырос. Он — мастер ружейного артикула и вполне доволен тем шедевром, коим является сам. Это нехитрый

стандарт. На церемониальных парадах Таффи пускает беглый огонь неуважительных комментариев, почти шепотом, по адресу каждого приказа и маневра Стиффи. Часто это жестокое испытание для нас, обязанных хранить торжественный вид.

В казарме мы, ребята, остаемся добродушными и спокойными; но лично не стали ближе друг к другу, чем были на третий день. Мы мгновенно достигли дружелюбия, и там остались, в трех шагах от задушевности. Перед Кеннингтоном[37] и другими я превращаю в шутку эту лагерную жизнь и себя, самое неуклюжее и тупое создание в ней. «Почему вы не хотите поступить в офицеры?» — спрашивают они, мало зная о том, как слаба власть. Рядовые летчики должны справляться сами. Все хорошее исходит снизу. Но, когда я честно смотрю на сборный пункт, то знаю, что положение у меня жалкое.

Первая причина — физические невзгоды. Мое изношенное тело не закалено для тех упражнений, которые нам предписывают; отсюда боль и растяжения, сбитое дыхание, тошнота, даже тот сломанный палец. Я устаю, как собака, к концу каждой недели, и каждую новую неделю начинаю в изнеможении. Вечер застает меня до тошноты измотанным работой, сделанной сегодня, и в страхе перед завтрашней: но каждый свободный вечер я выгадываю час для Лондона, ценой проезда туда и обратно. Это жажда почувствовать вокруг улицу, чтобы затеряться среди равнодушной толпы: ведь никто не видит человека в форме. Их глаза отмечают «вот летчик» или «вот солдат», регистрируют класс, а не личность — и они идут мимо. Становишься призраком, хотя в тебе течет кровь, и ты дышишь.

Рассвет — это борьба за то, чтобы встать. Я чувствую себя, как Адам при звуках первой трубы нашего ежедневного воскрешения. Ночь — борьба за то, чтобы уснуть, здесь, в толпе. Если бы хоть минуту побыть одному! Но сейчас слишком холодно или сыро для прогулок на улице; и мы не смеем портить ботинки, ведь первое, что с нас спросят утром — чтобы они блестели. Барак слишком многолюдный и шумный: это в своем роде дом, но я — чужеродное вялое существо, забредшее в эти края. Моя надежда вернуться обратно к человечеству, сковав себя с себе подобными, похоже, безнадежно провалилась. Я здесь более одинок, чем в обществе самого себя на Бартон-стрит; должно быть, одиночество въелось в меня.

В Оксфорде я тоже был одиночкой: единственным моим знакомым был любитель виски, который, проводя дни и ночи взаперти в своей комнате, на рассвете вторгался ко мне, заклиная меня всеми дружескими чувствами найти для него такой способ уйти из жизни, чтобы сохранить страховку для его семьи. И в

офицерских столовых мне было примерно так же весело, как рыбе, только что попавшей на крючок, которая задыхается в лодке, полной снастей.

В те дни я обычно был источником дискомфорта для окружающих, тогда как здесь не годится лишь моя собственная персона. Ребята считают меня удобоваримым по определению: в самом деле, они удивительно добры ко мне. На службе каждый сверчок должен знать свой шесток: но у меня есть привилегии, со мной считаются. С тех пор, как ушел Китаеза, они даже не трогают меня руками. Китаеза обычно мял и трепал меня, пока мне не хотелось кричать.

Но в основе этого тупого, несчастного состояния, как я чувствую, лежит не физическая усталость. Усталость я часто преодолевал и побеждал выносливостью — а этого добра у меня столько, что оно не может быть признано достоинством. Проблема коренится в страхе: страх оступиться, страх сломаться. Разумеется, мое самолюбие страдает, если я оказываюсь хуже, чем остальные, в их работе. К тому же я кажусь телесно негибким и неуклюжим. Это уязвляет меня: презренная плоть должна служить мне и не жаловаться. Я не хочу, чтобы надо мной смеялись, или иметь повод посмеяться над собой; к тому же над моей головой висит этот школьный страх, эта работа под угрозой произвольного наказания, сделавший мою жизнь от восьми до восемнадцати лет несчастной, после чего в Оксфорде началась такая благородная свобода.

Здесь нас должны наказывать, и наказывают, за любой промах, за любую погрешность против стандарта; или по требованию, или по выдуманному требованию, или просто кому-то приходит в голову, что пора бы уже. Из штаба однажды послали нашему полковнику напоминание: «Мистер Макларен, в вашем отряде недостаточно проступков». Мне повезло отделаться лишь тремя обвинениями: и против последнего я не захотел защищаться: но я видел, как другие терпят вопиющую несправедливость лишь затем, чтобы удовлетворить систему. Поэтому я пребываю в страхе — не перед наказанием (человек страдает лишь до определенной границы, а затем мука слабеет), но перед статусом наказанного, перед дурной славой или жалостью. На этой неделе, когда я проходил через свое взыскание, ребята наперебой старались делать мне небольшие одолжения, показывая, что они мне сочувствуют. Это все равно, что ворошить мой позор горячими пальцами.

20. В карауле

За обедом из штаба внезапно сообщили сержанту Дженкинсу, что он следующий в карауле, вместе со всеми, кто ростом ниже пяти футов восьми дюймов, из его отряда. Высокие предназначены для завтрашней мемориальной службы. Коротышек остается довольно много, но Таффи выбрал свой караульный отряд, и я буду в нем.

Таффи все это разозлило. Так много времени у нас отнимал церемониал и парад у кенотафа, что наше обычное обучение было урезано на целые недели. Гимнастика, церемониал, школа, гимнастика, церемониал — и так по кругу, день за днем. Караульная служба имеет свои особенности, и мы ее даже не касались. Таффи пришел доложить об этом Стиффи и сказал, что мы в караул не годимся. «Чепуха, — ответил Стиффи. — Ясное дело, это будет Гарри Тэйт[38], но на этот раз ладно уж». «Хорошо, — сказал Таффи, — приказ есть приказ. Только я ни за что не отвечаю». За бараком он дал нам начальное понятие о том, что надо делать в карауле; поэтому мы одолели слегка нелепую подготовительную часть не совсем безнадежно.

Я был выбран первым часовым. Прошел второй старшина, из порядочных. Когда он проходил мимо меня, я поднял оружие. Он взглянул на меня, замешкался и пошел дальше. Он прошел через ворота, и я снова принял оружие на грудь. «Зачем?» — просто спросил он. «Должен, наверное, сделать что-нибудь, сэр, для старшины». Он засмеялся. «Ну и часовой. Только не делайте так ни перед кем другим».

Вечерний рабочий отряд мерным шагом прошел мимо, в комбинезонах, по четыре. Я поднял винтовку «на караул». Сержант Пултон уставился на меня. «Часовой, с чего это ты салютуешь рабочему отряду?» «Жест уважения, сержант. Они делают здесь всю работу». Сзади, из тени веранды послышался журчащий смешок Таффи. «Давай-ка отсюда, Мозгляк. В моем отряде тебя не любят».

Это был один из тех вечеров, когда в сержантской столовой проходили танцы. Таффи, сыпля непристойностями, сидел на ступеньке у двери и провожал взглядом заходивших женщин: их было больше пятидесяти. Каждой он отдавал честь, что вызывало хихиканье, румянец или пронзительный смешок. В свое время Таффи был парнем хоть куда: теперь он предпочитает пиво утехам плоти. Я заметил, что он не показывал свои обычные манеры ни одной из женщин. Они хоть когда-нибудь слышат истинные голоса мужчин? До двух часов утра сержанты, более или менее нетвердым шагом, шли вразвалку в ворота и из ворот. Только восемь из пятидесяти женщин к рассвету вышли через официальный выход.

В караулку принесли ведро выпивки — долю Таффи в танцевальном вечере. Джок Маккей, который слишком набрался, чтобы танцевать, пришел помочь Таффи с ним справиться. Два воина сидели у печки, не замечая нас, травили байки о прежней сумасшедшей службе, о кампаниях в Индии и Франции, о приключениях на грязных улочках: между рассказами они окунали свои эмалированные кружки в ведерко с пивом и, икая, опрокидывали их в себя.

После обхода в четыре утра они полчаса пели строевые песни (музыка официальная, слова войсковые) всех полков, с которыми встречались. Закончив это, они перешли к строевой подготовке. За минуту до того они были пьяны так, что на ногах не держались. Прикосновение к оружию протрезвило их. Они прошли перед нами весь устав от начала до конца, в совершенстве. Это было больше, чем механическая безупречность: живой, осознанный образец, поэма движения. Спели «За дружбу прежних дней»[39], и Джок заковылял к себе, чтобы проспаться. Таффи рухнул на спальную скамейку и мгновенно вырубился.

Пришел рассвет, или почти пришел. Сигнал подъема и звук трубы на дороге перед штабом. Я смутно вспомнил, что караул должен что-то делать в час подъема. «Сержант», — позвал я, настойчиво тряся Таффи за плечо. Он вскочил еще до того, как сигнал закончился, мгновенно осознал положение, и что мы опоздали. В два прыжка он был у двери, и уже за дверью, на темной веранде. «Караул, смирно! поднять оружие…» — и всю процедуру утреннего парада он прокричал в туман, на случай, если дежурный офицер пользовался вчерашней пьяной ночью и подслушивал.

Мы, караул, тем временем на скамейках боролись со сном, продирали глаза и пристраивали брошенное ночью снаряжение обратно на плечи. «А чего это там Таффи разоряется?» — поинтересовался Парк. Сержант шагнул назад к двери, окинул нас взглядом, в котором зажглось веселье, и прокричал последний приказ: «Караул, в караульное помещение разойтись!» «Чертовски способный отряд», — проворчал он нам, когда его выдержка затрещала по швам. Появилась на свет угрожающая трость, и мы зажали рты кулаками, чтобы остаться трезвыми. Взбалмошный Таффи колотит нас, но мы его любим даже за это. Ему приятно служить. Мы задобрили его остатками пива из ведра. «Молодец», — сказал он мне через некоторое время.

Малышу Нобби, который стоял в карауле у одиноких ворот прачечной, выпало позвать денщика Стиффи в половине пятого, дабы чашка чая для великого человека была готова уже перед работой. Нобби боязливо прокрался в мрачное черное здание

через кухонную дверь, но заблудился. Он открыл одну дверь — кладовка: другую — там смутно вырисовывались очертания кровати. Он попытался двинуться на ощупь и вдруг попал рукой в чье-то теплое лицо. «Ой!» — вскрикнул он и отскочил назад. Голова, а за ней и другая, высунулись из подушек. «Это денщик Стиффи?» — дрожа, спросил Нобби; и знакомый громовый голос гневно прозвенел в его ушах: «Нет, это Стиффи!»

21. Стиффи

Каждому лагерю нужна своя доминанта: нашему выпал на долю Стиффи, очень своевольный. Он не претендует быть офицером; возможно, он втайне имеет зуб на офицерский класс. Он так любит принижать их перед нами. «Мистер Сквайр, ваша фуражка ни на грош не годится для парада». На самом деле он хочет быть здесь единственным правителем и унижает старшину, сержантов и даже капралов публичными разносами.

Избавившись таким образом от соперников, Стиффи начинает строить. Он пытается внушить нам свой стандарт, и это плац перед казармами, чистый и простой. Там неудача — это Неудача: а то, что делается вне плаца, считай, и не существует. На словах мы ему послушны: но наши действия с этим не согласуются. Мы все знаем, что Моряк — лучший из нас. Но на плацу он ничто. Мы ставим его над собой добровольно, за его силу. Я вне службы пользуюсь широким влиянием. Но я мучительно неуклюж в строевой подготовке и осознаю это.

Даже Стиффи непоследователен. Он подчиняет всю нашу жизнь строевой подготовке, а затем очерняет ее, говоря, что это средство, чтобы сделать из нас летчиков. Это только слова. Стиффи понятия не имеет, что такое летчик, но у него есть понятие — более того, убеждение, — что строевая подготовка требует идеального исполнения ради нее самой. Странный взгляд для взрослого человека на телесные кривляния!

Если бы весь штаб Стиффи разделял его веру, они могли бы увлечь и нас за собой; мы достаточно обучаемы. Но капралы уверяют нас, что все это — армейская лажа, от которой ничего не останется за пределами сборного пункта. Судя по их неадекватности, сборный пункт не может быть долгое время суровым. Здесь царит разбросанность, постоянные припадки и начинания, множество новшеств, причем неопределенных. В особенности школа (хотя и не подчиненная Стиффи), где нас просят проявлять разум и трудиться ради самих себя. Так школа противостоит плацу.

Но безуспешно. Мы становимся покорными. Классы с

учителями идут хорошо; над книгами рядовые изнывают или клюют носом. Мои занятия по французскому показали мне, что тщетно начинать учить книжные предметы, когда наши тела находятся на мельнице. Мы научились делать лишь то, что нам приказано. В первоначальном энтузиазме мы делали больше и страдали, ибо инициатива наказуема. Нам хотелось горячей ванны, чтобы вымыться полностью. Теперь, когда мы уже почти служивые, мы знаем, что инспекции подлежит участок от волос на шее до верхнего края гимнастерки. Этот участок долго чистить не надо; так мы учимся сберегать энергию, и только поэтому можем выдержать вал работы.

Это обучение бесплодию, чтобы ничего не делать от себя, было главной частью нашего обучения, и притом самой мучительной. Повиновение, активное качество, — это легко. Мы пришли сюда, желая быть вполне послушными, и испытываем жалкую благодарность Таффи, который раздает нам приказы с рассвета до заката. Общий тон и лагерные привычки помогли нам и научили послушанию самой своей атмосферой.

Совсем другое — научиться пассивно валиться, когда последний приказ выполнен: безвольно ждать следующего приказа — это трудно. Ребята хотят предвосхищать приказы, из самоуважения. А самоуважение — одна из тех вещей, от которых военным приходится избавляться, ведь это означает молчаливую непокорность духа, субъективный стандарт. Мы не должны иметь собственных стандартов. Наша порядочность — забота офицеров и сержантов, когда они о ней вспоминают, а наша честь — то, что они считают пригодным для нас. Пробыв некоторое время в таком режиме, интеллект и воля рядовых отправляются обратно к Создателю. Странно видеть, как наши умы сникают, когда мы полагаемся на них. В качестве посоха для поддержки инстинкта и характера в суровых условиях они сейчас так же бесполезны, как стебли плюща.

Наш барак обычно приходит к какому-нибудь мнению путем спора, противореча первому же слову, которое брякнул первый же дурак. Позднее это превратилось в инстинкт. Мы пришли, сами того не зная, к корпоративной жизни. Сегодня мы мыслим, решаем, действуем на параде, не произнося ни слова. Люди превращаются в войско, когда они все, как один, ленятся (при дурном инструкторе), упрямятся (если злятся), работают на совесть (если и к ним подходят со всей душой). Мы обрели единство отряда, лежащее за пределами наших индивидуальностей. Самостоятельность, которую потерял каждый в отдельности, сохраняем мы как единое целое. Мы — твердолобый и упрямый отряд, словно достоинства Моряка и

Зубастого размазаны тонким слоем по пятидесяти головам. Личность умерла, чтобы родилась душа сообщества. Еще шесть недель, после этого мы станем рядовыми, прошедшими обучение, наше единство будет расколото на пятьдесят частей и погибнет. Но сегодня мы все еще не знаем, будут ли эти пятьдесят нашими прежними «я» или микрокосмами отряда — не знаем, как и в первый день, когда мы так скромно прошли через ворота во главе с сержантом Шипшенксом.

22. Освобождение

Прибежал человек из комнаты дежурных: письмо прямо из Министерства авиации, немедленно переводящее меня в часть. Так что я избегаю последних недель обучения и оргии испытаний на физподготовку, которой она кончается. Слава Богу. Кто-то, возможно, Тренчард, присматривает за мной. По случаю, мы узнали чуть больше о Тренчарде, когда были в карауле. Капрал, пришедший ночью, служил у него денщиком: тот, что в прошлом году отправлялся с нами в Египет на нашей лодке. Разумеется, меня он не узнал: но всю ночь, едва Таффи замолкал, мы выуживали из него рассказы о его хозяине. Хорошо быть героем в глазах своего камердинера.

К чаю новости достигли канцелярии. Капрал Харди вернулся и предупредил, что я должен быть в дежурке завтра в девять. «Старик Стиффи там до потолка скачет оттого, что рядового отсылают до конца обучения. Такого мне фитиля вставил, это что-то». Поэтому я отправился туда с дрожью в коленках, и для профилактики идеальным образом отдал Стиффи честь. Он посмотрел на меня, как будто я был безобразен и источал зловоние:

«Сколько времени здесь?»

Я ответил.

«Насколько знаете строевую подготовку?»

«Очень мало, сэр».

«Как это?»

«Первый месяц — сплошь работы, сэр; затем — сплошь подготовка к церемониалу».

Он выслушал меня с молчаливым отвращением.

В девять сорок прошлым вечером, после обхода, восточный край казармы — Фейн, Парк, Кортон, Гарнер, Мэдден и компания — постелили наиболее чистую простыню на столе, поставили по скамье с каждой стороны и уставили стол едой из ХАМЛ и столовой. «Цеппелины в облаках» (сосиски с пюре), «Адам и Ева на плоту» (яичница на хлебе, по-хокстонски) были главными

блюдами, со всевозможными гарнирами — сыр, помидоры и булочки по пенни и по два. Три бутылки чая из ларька были последним штрихом на этом пиру, на который они потратили все оставшиеся медяки из совместного заработка. Это было их прощание со мной. Определенно я приобрел здесь чуть больше человечности: никто прежде не отваживался задавать мне банкет.

Это различие между востоком и западом в казарме сложилось естественным путем, когда мы впервые обосновались здесь. Те, кто говорил по-книжному, начитанные, непыльных профессий, собрались вокруг западной печки; а те, кто бранился с чистейшим кэмбервелловским выговором, стянулись к другой. В центре спали нейтральные. Со временем, как это ни нелепо, я стал почти бессознательным арбитром западного края. Западники слегка поддразнивали восток, как «кусок настоящей жизни подлинной пробы».

Обычно в субботний вечер затевался словесный бой. Восток любил пиво: больше, чем мог выдержать. В особенности Кортон. Это был плотный парень, который заканчивал все споры предложением свести счеты. Никто в бараке, кроме Моряка и, может быть, Диксона или Кока, не мог с ним тягаться. Кортон не был моим кумиром: когда он был пьян (а каждый седьмой день он был пьян в стельку), в нем проявлялись черты, что называется, похабства. Он распахивал дверь и вламывался после нужника, не подтеревшись, и брюки висели у него вокруг колен. Откинув одеяло на первой же пустой кровати, он присаживался на нее с ухмылкой, ерзая по простыням и вытираясь об них. Когда это достаточно его охлаждало, он на руках подтягивался к спинке кровати, вставал и радостно указывал пальцем на ее обладателя: «Вот засранец, обосрал всю кровать». Потом он переходил от одного к другому среди тех, кто будто бы спал, и мочился в каждую пару вычищенных ботинок, пока не мог больше ничего выжать.

Я скрывал свою тошноту перед ним из страха показаться «высоколобым»: да и тело мое понимало, что не сможет справиться с телом Кортона. Другие, однако, начали жаловаться за его спиной. Может быть, Моряк что-нибудь ему сказал: в любом случае, после третьих выходных дурная привычка прекратилась. За этот месяц запад несколько сбавил тон, а восток кое-чему научился: в это время мы все, в ежедневных испытаниях, обнаружили, что на самом деле кроется за внешними манерами.

Это было счастьем для меня; так как, когда я вступил в спор с капралом из-за отказа в займе, за неделю до моего последнего пребывания на губе, он переместил Кортона через всю казарму на кровать рядом со мной. Противостоянию по указке недоставало

огня. При ближайшем знакомстве этот великан оказался на редкость, до тупости, честным. Ближе некуда: всю ночь нас разделяли три фута. И ни разу он не задел меня, когда был пьян. Он наклонялся над моей подушкой, бережно трепал меня по волосам и приговаривал: «вот негодник», в то время как вся казарма, ожидавшая, что меня сейчас скинут с кровати, дрожала от восторга.

Когда наступило печальное окончание пиршества, над развалинами еды организаторы начали говорить о том, каково им со мной расставаться, с прощальными словами, от которых немилосердно перехватывало горло. Для моего сдержанного ума этот перевод — дар свыше; но скоро, уже сейчас, я начинаю жалеть об этом. Анонимность для меня редкое блюдо. Только спрятав свою прежнюю личность, могу я получить равное отношение к себе, как ко всему потоку людей: и тогда я обнаруживаю себя во многом менее полезным, чем средний уровень. Здравый урок скромности; но и дорогостоящий, так как разыгрывать из себя другого человека — это требует бдительности денно и нощно, и только физическое волнение может заставить меня собрать себя в кулак.

Здесь я и сам по себе был в критическом состоянии: в напряжении, превышающем способности моего предательского тела, выдерживая состязание с юностью. На сборный пункт я буду оглядываться с теплотой, как на последнее мое испытание, которое я, по крайней мере, пережил, хотя не сказать, чтобы с честью. Правда, иногда я смеялся вслух, когда больше всего слез проливал в своих заметках. И приобретение от этого — то, что я никогда снова не буду бояться простых людей.

Потому что я научился здесь солидарности с ними. Не то чтобы мы очень похожи или станем похожими. Я завербовался, питая надежду, что разделю их вкусы, манеры и жизнь: но моя натура упорствует, видя все в зеркале самой себя, а не прямым взглядом. Поэтому я никогда не буду полностью счастлив так, как счастливы эти парни, находящие свой нектар жизни и ее эликсир в глубоком шевелении каких-нибудь семенных желез. Кажется, я могу ближе всего подойти к этому «по доверенности», используя свои способности (столь заостренные опытом, успехами в войне и в дипломатии), чтобы помочь им сохранить свое врожденное счастье в противостоянии с комендантами и Пултонами этого мира.

ВВС для меня теперь — это я сам: призвание абсолютное и неизбежное, без единого сомнения: и это такое чудо, что я горю желанием сделать его идеальным. Мне было нестерпимо видеть, как цвет его непорочных новобранцев портится здесь нелепым

обращением. Мои горести всегда поправимы: горести каждого всегда поправимы, ведь слишком легко он может прощать их, если они вообще заслуживают этого великого слова — прощать. Может ли Пултон, даже если встанет с левой ноги, набраться достаточно тонкости, чтобы причинить мне боль, которую можно было бы запомнить? Но, когда он оскорбляет других, я негодую. Он грешит против воздушного флота.

Часть третья
Служба

Около трех лет спустя

Пояснение

У меня было стремление — прежде чем я в 1923 году оглянулся назад и увидел непригодность моих «Семи столпов», пересмотрев их с холодной головой, — написать «настоящую книгу»: я думал найти ее предмет в Королевских Военно-Воздушных Силах.

Предшествующие пятьдесят глав были записаны, вечер за вечером, в постели на сборном пункте, в качестве основы будущей книги: здесь они изложены не слово в слово (в первозданном виде одно предложение было обмотано вокруг другого, как кишки в человеческом животе, а здесь я нанизал их на струну, как фунт сосисок) — но по существу это и есть мои заметки на сборном пункте.

Сборный пункт мог бы стать прелюдией, коротким подступом из выбранных сцен, на пути к той книге, которую я собирался написать для несравненного Хогарта[40] о жизни в летном отряде, где и есть настоящий воздушный флот; но мое внезапное увольнение из Фарнборо[41] выбило этот опыт из меня. Когда, спустя целых три года, мне было разрешено вернуться к тому, что с этих пор стало моей стихией и сообществом, все уже не могло быть таким, каким было в 1922 году.

Поэтому я перестроил для вас (Хогарта уже нет, поэтому вы — это, должно быть, Эдвард Гарнетт, чьему чувству формы я столь многим обязан) каждое предложение из моих заметок на сборном пункте. Ни одно из записанных слов не пропущено, и ни слова не добавлено. Но я не могу закончить рассказ на этом. Лагерь, который я знал, был жестоким местом. Теперь он изменился: поэтому, ради честности, я собрал несколько следующих отрывков, главным образом из писем моим друзьям: в надежде, что они смогут дать представление о том, как отличалась от этого, какой человечной была жизнь в летном училище. В этих страницах нет последовательности, и многого мучительно не хватает: но, может быть, некий отблеск нашего довольства просияет между моими фразами перед вашим взглядом.

Как может человек описывать свое счастье?

1. По железной дороге

Одеваться к поезду пришлось как на губу: китель, брюки и обмотки — в этом снаряжении жарко. Форменные ботинки так сковывают движения, что мостовая кажется катком. Шинель (середина августа). Полная выкладка, так плотно покрытая глиной, что от каждого движения коричневый порошок сыпался, как пыльца, на мою одежду и на одежду соседей. Полный пакет, много фунтов веса. Штык — на Большой Северной Дороге, боги мои! Прикрепленный на штыке мешочек с холодной говядиной и хлебом, справа уравновешенный бутылкой с водой. До этого несчастный верблюд молча принимал свою ношу: но после двух с половиной фунтов тепловатой воды подал голос. Так положено. Вы все еще на сборном пункте. Придержите свой чертов язык, не то пойдете под арест.

У ворот станции мне бросили на плечо (сбив с меня фуражку) рюкзак со всеми моими пожитками: всего-то еще восемьдесят фунтов. Для «закаленного летчика» носильщик — такой же серьезный проступок, как и зонтик. Прежде чем я добрался до конца платформы, пот стекал по моим рукам и ногам, будто я был в горячей ванне.

Поездка постепенно убеждала меня, что это военное снаряжение не предназначено для мирных поездов. Я стал слишком широким, чтобы прямо пройти через любую дверь вагона. В каждой очереди или в давке я пихал идущего сзади пряжкой в рот или осыпал рядом стоящую женщину порошком со своего снаряжения. Когда я садился, боковые мешочки и полы моей одежды занимали два места. Рюкзак пачкал спинку сиденья, поэтому мне приходилось все время ютиться на краю и перегораживать проход.

Старушка в метро рядом со мной была в легкой юбке, сплошь в финтифлюшках. Гарда моих ножен увеличила одну из них. Она поднялась и ушла, даже больше взъерошенная, чем ее юбка. Я с облегчением переместился на ее освободившееся место, но бутылка с водой накренилась носом вниз и оставила на пустом сиденье незаметную лужицу. Потом, к счастью, я пересел на другой поезд.

Это были сплошные пересадки: и, когда я освоился, то на коротких перегонах стоял в тамбуре, чтобы уменьшать неизбежные неудобства для публики с моей стороны; на долгих перегонах снимал свою сбрую и шинель. Так было лучше, пока вода не начала капать с полки. Я выпутал дурацкую бутылку из ремней и вылил ее в окно (и в следующее окно, как мы вскоре услышали).

На вокзале Виктория я был по горло сыт этими пересадками и избавил себя от необходимости обедать в городе. Поэтому я залез в пустой автобус на Кингс-кросс, заняв сиденье поближе к двери. Разумеется, влезть наверх было не в моих силах. Мы проехали Расселл-сквер, все еще порожними, когда вернулся кондуктор и, глядя на отполированный козырек моей фуражки, сказал: «В наше-то время мы так не надраивали снаряжение. Не поверишь, я ведь был одним из первых четырех тысяч среди ваших. Это было в четырнадцатом году, в войну. Малость пораньше тебя, сынок». «Да, папаша», — вежливо пробормотал я.

На Кингс-кросс полчаса ожидания: это хорошо, потому что поезда сегодня полные. Я нашел уголок и сел. Толпы спешивших людей заглядывали и проходили мимо: люди не путешествуют, если могут, рядом со служивыми. Мы проехали тихий долгий путь вдоль залитых солнцем болот. Следующая пересадка была около пяти вечера. Я встал, чтобы снова надеть снаряжение, потому что железнодорожные платформы кишат военными полицейскими, которые докладывают о летчиках, если те носят его не по форме.

Чтобы в лагере надеть снаряжение, надо вытянуть все перед собой, резко сунуть туда одну руку и рывком свободной руки, живо извернувшись всем телом на левой ноге, влезть в остальное. Для этого нужно восемьдесят квадратных футов пустого пространства. Если пытаться сделать это в переполненном купе, то это обойдется в слишком много выбитых зубов. Некоторое время я бился, как муха в паутине, пытаясь потихоньку проскользнуть в свое снаряжение: но потом какой-то высокий человек в вагоне встал и подержал его мне, молча и профессионально, как простой жилет. Очевидно, минимальный эффект от воинского образования в Англии за военные годы — облегчить судьбу летчика, путешествующего по железной дороге.

Еще одна пересадка, еще один участок пути, закат, сход с поезда и долгая дорога. Огни лагеря казались городскими, с запада и востока от прямой, как стрела, гудроновой дорожки. Теперь я стал серьезным. Положительно, впереди была караулка. Мы чуем такие заведения каким-то инстинктом. Любопытство мое обострилось. Здесь я проведу годы: каково первое впечатление? Определенно хорошее. У часового только трость, нет ремня и винтовки. Внутри, в ослепительном свете, показалась компания военных полицейских. Придется их остерегаться. Их сержант взял мои бумаги и направил меня в барак 83, по второй дорожке налево. В бараке 83, очевидно, оставляют кровати для случайных пришельцев. В этом видна забота о людях. Я вглядывался в неярко освещенные углы, которые казались мне пустыми: но кто-

то на койке услышал шарканье моих ботинок, потому что дверь открылась. Вышел одинокий человек: механик авиации, как и я.

«Эй, ты откуда взялся? Со сборного пункта? Ну, тебе повезло — здесь тепленькое местечко. Бери себе любую кровать; кроме нас, никого нет. Я тут вроде дежурного. Пожрать чего-нибудь из столовой? Ладно… Поверка? Ну да, что-то вроде этого тут есть, кажется, построение, но капрал не потащится сюда. Тебе следующим номером к адъютанту, завтра. Я тебя проведу». Он был рассыльным в штабе.

«Как насчет помыться?» — спросил я, начиная стаскивать с себя мерзкую одежду, прилипшую ко мне за время жаркого пути. Барнард махнул в сторону входа, через узкое крыло. «Управляйся сам: два крана, горячий и холодный». После сборного пункта это казалось слишком хорошо: но было правдой.

2. Отряд Б

Я проснулся с чувством легкости. Здесь мне понравится. Сегодня солнечный свет все украшает. Мы с рассыльным не спеша съели стандартный завтрак, и я помог ему подмести несколько комнат и коридоров штаба к половине восьмого, прежде чем показались первые офицеры. Я ждал до одиннадцати с небольшим, пока у них нашлось время для меня.

«Я видел вас раньше, — сказал первый адъютант. — Вы были на сборном пункте три года назад? — Я признал это, таким тоном, что дальнейших расспросов не последовало. — Вы пойдете в отряд Б. Зарегистрируйте его, старшина, и отошлите».

Я провел день, перемещая свое снаряжение в барак 105 и заправляя постель. Здесь капрал, который отвечает за барак, и дюжина ребят в нем. Отряд — всего четырнадцать механиков, сам капрал и сержант: и мы все живем вместе в опрятной маленькой казарме на шестнадцать кроватей. Сейчас каникулы. Каникулы — звучит для меня странно; но смысл нашего существования здесь, кажется, в том, чтобы поддерживать машины, на которых курсанты учатся летать, а в августе училище закрывается. Большинство «мехов» берут отпуск на месяц. Остальные проводят дни в самых нелепых работах.

3. Манеры

Подъем все еще ранний, но, когда этот чудесный солнечный свет заполняет барак вскоре после пяти утра, кажется неприятным лежать в кровати. Вокруг сельская местность. Я прошел в приемный барак, где провел первую ночь, и набрал себе

горячую ванну, тихо, чтобы не разбудить Барнарда. Он обещал, что я могу свободно пользоваться его ванной. Причина, по которой он так отмечен — барак 83 на той же линии, что и курсантские, а у них всегда должна быть горячая вода. Я благодарен им. Это значит, и у меня тоже.

Иду обратно, все еще спят. Я заправил кровать, как в лагере, и пошел на завтрак. Когда я вернулся, мой сосед недовольно оглядывал постель. «Ты издеваешься, приятель? — спросил он. — Тут тебе, знаешь ли, не гребаный сборный пункт». Пришел капрал со своей койки. «Это откуда же ты явился?» «Со сборного пункта, капрал», — отозвался я, щелкнув каблуками, как меня учили. «Ну так забудь об этом, ясно? И заправляй кровать вот так», — тремя-четырьмя ловкими взмахами руки моя постель разделена и рассована по всем четырем сторонам, как разбросанная копна сена. — «И не становись по стойке «смирно» в ВВС, когда разговариваешь не с офицером».

«Идет, капрал», — усмехнулся я, воспользовавшись этими вольными манерами. На сборном пункте сказать «идет» незнакомому капралу — значит угодить под суд. Капрал набросился на меня, как змея, на которую наступили: «И брось-ка ты своего «капрала». Что за дерьмо ты из меня делаешь? Меня зовут Джорди, ясно? А тут — летное училище. Выкинь из головы всю ту лабуду, которой вас учили. Ты теперь в Военно-Воздушных Силах. Эти чертовы капралы на сборном пункте важничают больше, чем в других местах полковники».

Он прав: здесь не сборный пункт. Вся претенциозность в манерах исчезла, вместе с гордой осанкой, резким шагом, звоном каблуков. Эти ребята могут ходить себе, будто никто за ними не следит: и, когда хотят поспешить, то идут быстрой, тихой, упругой походкой. Возможно, им позволяют иметь резиновые набойки на пятках. Их форма тоже кажется *поношенной*: не столько знак службы, сколько частная одежда их профессии. Голубой цвет быстро выцветает. Скромный цвет и плотная посадка побуждают тех, кто носит эту форму, быть удобного размера.

4. Первая запись

Сейчас собираюсь в ангар, чтобы продолжать обслуживать самолеты. Мы делаем это лениво, лишь бы убить время, пока не началась новая четверть, и не пришли наши курсанты. Говорят, мы потеем, как черти, во время учебы. Эта жизнь полностью мне приятна: люди — не совсем: но я медленно раскачиваюсь, когда попадаю в казарму, полную незнакомцев, и первое впечатление

всегда неблагоприятное. Только после того, как их грубость будет постигнута и прощена, появится более интересная сердцевина. Ограниченность их выражений сперва скрывает ее: монотонность их прилагательных меня возмущает. «Неплохо, хорошо, чертовски здорово» — вот их положительная, сравнительная и превосходная степень по отношению ко всему. Ничто не кажется смешным, или живым, или свободным, если не пародирует нашу сексуальность. И все же, дайте им только время. Некоторые люди вступают в отношения сразу; но взамен так же быстро выдают большую часть себя.

5. Жилище

Интересно, как вам понравились бы наши ночи? Барак так мал для нас, шестнадцати человек: ряд кроватей вдоль каждой длинной стены, стол и две скамьи в узкой середине, прямоугольная печь. Посередине каждой короткой стены — дверь: одна ведет на улицу, другая в пристройку с душевой, прачечной, уборной и ванной, которая служит проходом с восточной, холодной стороны барака.

Нас, как я уже сказал, шестнадцать; четырнадцать рядовых, капрал и сержант. Кровати у нас железные, раздвижные. Очень жесткие в первые ночи. Матрасы — три небольших прямоугольных подушки из коричневого полотна, плотно набитых кокосовым волокном. Их называют «бисквиты».

Соседняя кровать — на расстоянии вытянутой руки от моей. Странно чувствовать шелест дыхания другого человека всю ночь рядом со своей подушкой. Его фамилия тоже Росс: шотландец из Девоншира, недавно женился, хороший парень: и это везение, потому что грубый сосед по кровати изматывает. Богатство полностью избавляет человека от соседей по кровати — привилегия, но и потеря; потому что близкое столкновение двух подобных часто бывает так же плодотворно, как и неудобно.

Летчики всегда спят очень беспокойно. Частично это, может быть, из-за жестких кроватей, на которых нельзя повернуться без стона, нельзя приподнять бедро, чтобы наполовину не проснуться: но ворочаться приходится, потому что на жесткой кровати тело сводит судорогой, если постоянно не двигаться. Так что ночь для тех, кто, подобно мне, долгое время лежит без сна, никогда не бывает полностью тихой. Слышатся стоны, бормотание, разговоры во сне. Они всегда видят сны; и иногда во сне говорят скотские вещи.

Интересно, насколько я выдаю себя в первую половину ночи, когда сплю? В армии, когда при работе на бронемашинах меня

весь день неумело натаскивали другие, моя нервозность так обострялась, что превращалась в лихорадку и горячку, и я как-то раз половину ночи проговорил без передышки. Никто не сказал мне, о чем: но утром на меня странно поглядывали.

У нас светлые ночи. Десять окон ловят лунный свет, с тех пор, как я пришел, а стены выбелены известью и выкрашены краской: поэтому даже свет звезд и отражения далеких фонарей здесь, в училище, заставляют их светиться. Кажется, здесь, на севере, никогда не бывает темно, потому что очень скоро после того, как я просыпаюсь, приходят первые лучи рассвета. Я чувствую себя рыбой в стоячем бассейне, проводя в грезах эти короткие часы. Сон притупляет зрение, как вода, и эта тишина — настоящая, в сравнении с шумом дня. Если бы вы слышали, как пульсирует в эту минуту железный ангар, когда заводится двигатель «роллс-ройс», в 260 л.с. на девятнадцати сотнях реверсов!

Но тишина длится недолго. Ее наступление задерживают опоздавшие, которые появляются около полуночи или позже; и они могут приходить, неловко топая ногами в обмотках, спотыкаясь то об одну ножку кровати, то об другую, ругаясь или бессмысленно хихикая. А кончается тишина, когда наступает подъем.

Подъем здесь — самый приятный из всех лагерей, которые я знал. Ни свистков, ни сигналов горна (до чего же каждый военнослужащий ненавидит горн!), ни дежурного сержанта, орущего дурным голосом. Мы просто позволяем солнцу нас разбудить. Когда пять высоких окон с каждой стороны выбеленной казармы освещаются, спящие шевелятся все чаще и чаще, пока совсем не проснутся. В это время года еще слишком рано, чтобы вставать: так как у нас нет никаких неизбежных обязанностей до завтрака, между половиной восьмого и восемью. Так что все лежат, дремлют, или спят, или читают, или тихо переговариваются. Эта тихая прелюдия к рабочему дню — первая и главная из красот училища.

Я встаю раньше всех и выбегаю в куртке и шортах, в которых спал, в барак 83, на противоположной стороне, через луг, заросший травой. Там я принимаю ванну. Такая смешная маленькая ванночка, коричневое квадратное углубление на уровне земли, как сточное отверстие, в цементном полу. К счастью, я и сам невелик, и, если подогну ноги, как портной, то могу сесть в ней на корточках, будто грязное блюдо в мойке, окруженный на шесть дюймов теплой водой; там я моюсь, и бреюсь, и снова моюсь. В холодное утро это рай: а летное училище стоит на берегу Северного моря и здесь, возможно,

холоднее, чем в любой другой точке Англии. Действительно, мы каждую зиму старательно записываем рекорды низкой температуры.

Около семи я бегу назад, в барак, и шумно вхожу, как сигнал остальным, которые уже побуждают друг друга вставать. Мы заправляем кровати, нагромождая три «бисквита» колонной и закатывая четыре одеяла в пятое, прослаивая этот бутерброд простынями. Потом чистим обувь, начищаем пуговицы, подметаем вокруг кроватей и выполняем одно из четырнадцати заданий на неделю, которые разделены между нами для поддержания жизни в казарме. Если приходится топить печку, то потом надо снова мыться. Затем я хватаю нож, вилку и кружку и бегу в столовую на завтрак.

6. Тело и душа

Столовая длинная и пустынная, холодная, как склеп, влажный запах исходит от рядов тяжелых столов и скамеек, вычищенных добела. На каждом столе горка из двенадцати тарелок. Когда мы приходим, то ставим кружки на край стола. Насчитав двенадцать ожидающих кружек, наблюдающий капрал бросает жестяной жетон: и последние, опоздавшие, идут на раздаточную получать ведерко с чаем и банку с железным пайком, содержащую двенадцать завтраков.

Пища в этом лагере жалкая: скудная и плохая. Отсюда процветающая столовая. Сегодня на наш вкус был предложен ломоть холодной ветчины, отчаянно тонущий в томатном соке из жестянки. Вчера был бифштекс, прожаренный до почти полного сходства с веревкой. «Мехи» ворчат и по поводу чая, потому что он не крепкий и не сладкий. Я благодарен за оба недостатка: и еще хотел бы, чтобы он не был горячим. Жаль, что люди пытаются превзойти воду, дешевый, простой, приятный и тонкий напиток.

Отличительная черта летнего училища — то, что нам не приходится мыть тарелки. Это делает за нас (так себе делает, конечно, но кто смотрит в зубы дареному коню?) специальный отряд, крайняя неприятность жизни и работы которого возмещается неограниченным количеством объедков. Все, что мы оставляем, принадлежит им. Поэтому каждый, кто любит набить брюхо, хватается за эту работу. Я рисковал попасть в их число, когда завербовался как необученный; но после своих невзгод в Фарнборо в 1923 году я не смел снова пробовать себя в качестве фотографа. Теперь, однако, риск дежурства по столовой миновал, ведь меня уже записали в отряд Б.

После завтрака мы идем на парад: около двухсот рядовых и

сто курсантов, будущих офицеров. Мы становимся в три ряда на узком плацу. На восточной, открытой стороне — флагшток. Мы стоим лицом к нему, после того, как устроимся на линии. Знамя ВВС висит на верхушке: трубач (позаимствованный для церемонии из восточного лагеря) играет королевский салют: курсанты, у которых есть винтовки, отдают честь. Мы, у которых ничего нет, стоим по стойке «смирно».

Салют — самая пронзительная нота, которую трубач может выдержать. Она проходит сквозь нас, как бы плотно мы ни закрывали свои поры. Вибрация превосходящей остроты захватывает, пронзает, чувствуется на звук и на вкус. Весь остальной плац, огромная заасфальтированная площадка, гулкая, окруженная казармами, тонет в мертвенной тишине. Представьте себе резкий ветер и мокрый ранний свет солнца, от которого наши тени на гудроне становятся такими же голубыми, как наша одежда.

После салюта евреи и католики расходятся; в то время как капеллан произносит молитву; мы все смиренно склоняем головы, стоя «вольно». После того, как над нами помолятся (некоторая ирония чувствуется в просьбе о том, чтобы за этот день мы не впали в грех и не подверглись никакой опасности, учитывая, что некоторым из нас через час в полет, и что все мы с самого рассвета совершаем проступки и непристойно ругаемся; но все же…) Наконец полковник отпускает нас; и мы маршируем по отрядам в ангары, к нашей ежедневной работе.

7. Ангар

«Ангар и ежедневная работа». Кажется, будто легко нарисовать эту картину. Теперь уже больше года, как она стала главным элементом моей жизни; но я все еще не могу увидеть ее реальность в трезвой прозе, хотя всегда думаю о ней, всегда стараюсь увидеть.

Факты, разумеется, таковы. Наш ангар — это корпус из бруса, обшитый железом. Пол цементный, без единой колонны или препятствия по основному пространству. Самый простор его — награда для обитателя низеньких комнат. Возможно, слишком большая награда. Летчик, оставшийся там один, чувствует свою незначительность и впадает в страх. Ангар такой же огромный, как большинство кафедральных соборов, и гулкий, как все они, вместе взятые. Мы разместили четырнадцать самолетов в его центральном зале.

Южная сторона — целиком ворота: гигантские, в пять футов, листы железа, висящие на колесиках на верхнем краю, которые

откатываются один за другим с громовым звуком, когда трое-четверо из нас берутся за работу. Потом, в каждый погожий день, сюда льется солнце, красит золотом наши машины и усеивает лестницы в пятьдесят ярдов танцующими пылинками в самых тусклых уголках огромного пространства. Кроме того, солнце пробуждает особый запах ангара Б, в котором соединяются машинное масло, ацетон и горячий металл.

Мне нравится ангар в бурю. Темнота и огромность, словно по соглашению, превращают его в устрашающее, зловещее место. Листы на закрытой двери дрожат на направляющих и громко бухают о железные поперечины. Сквозь их щели и сквозь сотни других щелей вламываются порывы ветра, визжа на высоких нотах, и пыль взвихривается у дверей. Скрип, удары: и дождь после шквала похож на армейский огонь из винтовок. Этот момент Тим выбирает, чтобы выйти из кабинета и отрядить всех нас подметать пол-акра[42] цемента.

По вечерам ангар выглядит дворцом. Мы включаем лампу за лампой высоко на крыше, и клин золотого света льется сквозь открытый фасад вдоль бескрайнего аэродрома, который поднимается, как блюдце, вверх до горизонта, будто море, и цветом похожий на море, из-за колеблющейся серо-зеленой травы. В этом потоке света витают мелкие фигуры, восемь-десять, которые тянут и толкают истребители «бристоль» или «девять-а» с блестящими крыльями. Они втаскивают их по одному в освещенную пещеру: потом двери с лязгом закрываются, свет гаснет: и эти карлики просачиваются сквозь карликовую дверцу сзади, по траве и гравию идут в постель.

Тим — командир отряда. Он просто сокровище. Мы радуемся каждому дюйму его массивной фигуры. Стоит посмотреть, как он сотрясается от безмолвного смеха, когда кто-нибудь совершит глупость. Мы видим, как улыбка исходит откуда-то сзади, когда медленно расширяется его челюсть. Еще одно зрелище — когда мы в страхе снуем за самолетами и по углам, если проходит шепоток, что Тим не в духе. Тим — наш барометр; он определяет погоду в отряде. В отряде Б самый бодрящий климат на свете.

В летном училище офицер ВВС вступает в свои права, на переднем крае власти, с командиром отряда в качестве абсолютного главы. На наш отряд из пятнадцати человек приходится три-четыре офицера. Как они могли бы не встречаться с нами, не разговаривать с нами, не знать нас? Мы — те руки, которые работают с их машинами; в каждый летный день от нашей бдительности и чувства долга на несколько часов зависят жизни офицеров.

Поскольку офицеры занимают положенное им место,

сержанты и капралы занимают свое. Исчезает прусская сержантократия сборного пункта. Они становятся нашими представителями, может быть, и не выборными, но назначенными из лучших среди нас, с нашего молчаливого одобрения. Мы принимаем их, как существа, полезные нам, которые вмешиваются и выступают за нас парламентерами перед властями. Если они не отвечают нашим нуждам, мы можем выступать за их спиной, неформально, в любой день, на аэродроме, где офицеры в нашем распоряжении. Непрерывное «ты — мне, я — тебе» превращает нас в семью: в счастливую семью, если взрослые хороши, в несчастливую, когда они не сходятся между собой. Хвала Тиму, что отряд Б никогда не сможет заподозрить низости в своем конституционном монархе.

Мы принимаем своих офицеров. Тим — собственность отряда, предмет общей похвальбы: но Джон принадлежит тем трем, что обслуживают его машину, Крашер — другим трем, а Рыжий — объект обслуживания моей команды. Мы сравниваем своих кукол и обмениваемся мнениями об их достоинствах и недостатках по вечерам в казарме, как летчики на Востоке меряются своими боевыми скорпионами и тарантулами.

8. Работа

Как просторный, неопрятный, шумный, значительный ангар — наш кафедральный собор, так и наша ежедневная работа в нем — это богослужение: и одно так же трудно постигнуть разумом, как и другое. В каждой вере есть отрицание здравого смысла. Мы верим, что работа наша достойна каждого взмаха рук и толчка ног; и посторонним наше верование может казаться столь же бессмысленным, как месса.

Жизнь у нас не лентяйская. Внутри ангара нас держат по восемь часов обычной работы; а до и после того мы моемся сами, заправляем постели, убираем казарму — еще полтора часа. А еще, с большим недовольством, иногда мы тратим лишний час на снаряжение или чистку штыка для какого-нибудь пышного парада: одна неделя в месяц — на дежурстве, когда мы стоим на аэродроме все сто шестьдесят восемь часов, на случай чрезвычайных происшествий: пожарный караул по вечерам: изредка — полицейская вахта, когда мы освобождаем военную полицию от какой-нибудь особенной обязанности: и получается, что жизнь заполнена работой. Днем в среду, в субботу и иногда по воскресеньям, если они не осквернены парадной службой, случаются золотые пятна в нашей трудовой жизни.

Такое количество работы, даже когда она становится

богослужением, отупляет посвященных. Я часто встаю с кровати таким же усталым, как и на сборном пункте: но это такая блаженная усталость. И она проходит, так как мы разделяем свои чувства между собой — бодрость тех, кто в это утро чувствует себя свежим, подстегивает вялых. Когда нас выматывают в летном училище, этого, по крайней мере, требует суть жизни, а не поверхностное украшение. Мы приносим огромную пользу здесь, на глазах у всех тех, кто принимает наш постулат о том, что завоевание воздуха — первый долг нашего поколения.

Милая пристрастность Природы, что сохранила сквозь века свою последнюю стихию на покорение нам! По тому, как мы освоим этот крупный новый объект, будут судить о нашем времени. Заодно, для близоруких или озабоченных политикой, здесь есть и национальная сторона: от того начала, которое мы дадим нашим последователям в искусстве воздухоплавания, будет зависеть переустройство нашей армии образца восемнадцатого века и дурацкого флота.

Не воображайте, что все мы чувствуем это, или это все, что мы чувствуем. Мы встречаемся с делом, ориентиры которого высятся далеко над нашим воображением. Каждый из нас знает, что сто тысяч человек, таких, как он, будут трудиться над этим изо всех сил, на протяжении многих жизней, и все еще не увидят цели. Мой небрежный, говорливый ум так далеко уходит в слова. Предельная кропотливость нашей работы идет дальше. Это не корыстный труд, не обязанность. ВВС и оплата — всего лишь блохи, вызывающие зуд нашего вдохновения.

И не обольщайтесь мыслью, что я изображаю нас прекрасными. В повседневной жизни мы грешники, которые приспособились к работе на пределе только потому, что стоим перед тем, что больше нас самих: но мы переводим это на чепуховые повседневные разговоры о бытовых нуждах. Если один из наших самолетов не может взлететь по причине, которой можно было бы избежать, весь отряд, пристыженный, вешает нос. И вот скажите Тагу, что он упустил что-нибудь в своем оборудовании: или скажите капитану, что его двигатель не в таком хорошем состоянии, как он мог бы его поддерживать — а потом спасайтесь бегством, если они сочтут, что вы не шутите.

Когда я перешел со сборного пункта в летное училище, я перешел от видимости к реальности. После двух дней здесь я мог сказать, что нашел свой дом. На сборном пункте мы занимались солдатчиной так долго и так сурово, что она стала второй натурой: бесплодность быстро входит в привычку, когда ее поддерживают. Теперь, в летном училище, мне пришлось научиться быть летчиком и разучиться этому корпоративному

усилию, которое было единственным духом плаца.

Трудно, когда тебе бросают работу и поясняют лишь то, что ты должен ее выполнить. Таффи Дженкинс давал нам в подробностях каждое движение, по номерам, ради того, чтобы команда исполнялась совместно. Здесь разумность каждого принимают как должное и нетерпимы к тем, кто просит научить их. Если мы не делаем что-то по-нашему — а значит, на совесть, быстро и достаточно хорошо — нас перебрасывают на что-нибудь другое. Эта беспощадность к человеческому материалу концентрирует нас: и высокие стандарты бодрят оставшихся. Наши машины летают, когда они хороши настолько, насколько в нашей власти этого добиться. Если этого недостаточно, нас перемещают на дежурство в столовой или в санитарную команду: и мы теряем профессиональное уважение среди товарищей. Это суровое наказание, которое оставляет далеко позади штрафные наряды бедного Стиффи. Нет столь безапелляционного суда, как суд равных; и отряд Б — республика, точнее, был бы ею, не считая добровольного повиновения Его Величеству Тиму.

9. Похороны

Странное это было утро, когда мы услышали, что королева Александра умерла. Туман, который собирается здесь обычно осенью по утрам, был таким плоским. Вдоль земли он лежал, как вуаль; но, когда мы поднимали глаза, то видели проблеск, намекавший на солнце, которое почти сияло над карнизами и верхушками мачт. Когда парад проходит в тумане, наши фигуры становятся плоскими. Нет толщины, нет теней, нет блеска отполированных пуговиц. Люди как будто вырезаны из серого картона, обведенного по контуру темной краской там, где вспышки преломленного света окружают их.

Так мы стояли на нашем плоском плацу в это утро, когда подняли знамя и сыграли ежедневный королевский салют: но после салюта нас держали по стойке «смирно» так долго, в мертвенной, дрожащей тишине, потому что воздух был очень ясным. Потом знамя поползло вниз с верхушки, пока гремели многочисленные барабаны оркестра. Они гремели и гремели, несколько минут, когда флаг двигался вниз. На середине мачты трубы медно грянули сигнал отбоя. Мы все глотали слюну, задыхались, а глаза наши невольно болели. Человек не выносит, когда его сводят с ума громкими звуками.

И самое худшее нас не миновало. Полагалось быть парадной службе в тот день, когда хоронили королеву. Наш капеллан, не пользующийся доверием, произнес одну из своих сомнительных

проповедей. Он говорил об умершей королеве как о Святой, о Несравненной, а не как о несчастной, многострадальной бедняжке. В приторных словах он превозносил ее красоту, которую Бог в своем милосердии оставил ей до самой смерти.

Мои мысли вдруг перенеслись в Мальборо-хаус. Желтый, ступенчатый портал: белоголовые лакеи и привратники, с лицами белее, чем пудра на их волосах: притихшие, огромные коридоры, похожие на амбары: глубокий ковер, по которому наши ноги неохотно плелись к камину высотой до потолка, который превращал в карликов мисс Ноллис, говорившую шепотом, и сэра Дайтона. Она — невероятно старая, изможденная, высохшая: он — когда-то огромный, трясущаяся шея роняет его большую голову на грудь, зияющий рот шевелится, почти невидимый и неслышимый среди зарослей бороды, спускающейся на жилет. Сэр Дайтон получил первый крест Виктории в Крыму: он был так стар, и мисс Ноллис так стара, что жестоким казался долг, постоянно державший их на ногах. Мы разговаривали с ними шепотом: все перешептывались в этом склепе.

Нам пришлось ждать, разумеется: это прерогатива королев. Когда мы получили аудиенцию, и я увидел эту мумию, ее голову, по-птичьи склоненную набок — не нарочно, а из-за болезни — глаза, обведенные красным, эмалевое лицо, которое резала поперек знаменитая улыбка, угловатая и душераздирающая — я чуть не убежал от жалости. Не следует поддерживать тело живым, когда угас светоч разума. Это был призрак всех ее очаровательных манер, маленьких изяществ, когда-то приятного покачивания и движения фигуры, в котором было ее обаяние. Ее костлявые пальцы, которые сталкивались в туннелях колец, играли с альбомами, держателями для ручки, фотографиями, безделушками со стола; и эта надрывающая сердце мольба отражалась на нас все ужаснее и ужаснее. Она вскоре отпустила нас.

За воспоминаниями я пропустил большую часть службы. Я прислушался снова и услышал, что капеллан рассказывает историю о том, как принц Альберт Эдвард в Палате лордов предупреждал лорда Гренвилла, что он пропустит часть его речи, потому что обещал сводить дочку в цирк. «Вот, — заявлял святой отец, — вот какова была картина этой семьи и тот пример, который принц и принцесса Уэльские подавали своему благоговеющему народу». «Херня!» — яростно прошипел кто-то позади. На тридцать второй минуте проповедь закончилась. Снова барабанная дробь и сигнал отбоя, которая теперь раздражает всех нас, обозленных: а потом назад, на обед. «В два часа строиться на работы!» — крикнул дежурный сержант. «И полдня за старушку

не скостили», — проворчал Таг.

10. Вечер танцев

Чик пришел первым, сразу после одиннадцати: непривычный вид пустой казармы как будто помещал ее вне времени. Пол мерцал и исчезал, черно-белый, как развевающийся флаг, когда поленья на минуту вспыхивали или снова угасали в дыму. Он вошел быстро, но резина на его выходных ботинках приглушала шаги, и он старался не разбудить меня. Он немного помешкал около кровати, швырнул фуражку и трость, расстегнул тесный воротник кителя; потом снова помедлил.

Огонь разгорелся и привлек его внимание. Он прошел туда и, кажется, затих на некоторое время, окруженный темным экраном своей серьезности. После этого он начал проворными, пружинистыми шагами расхаживать по деревянному полу, бесшумно, как будто ему нравилось так ходить. Он раскинул руки, раз или два что-то пробормотал вполголоса, поворачиваясь на цыпочках.

Я заворочался в кровати, чтобы дать ему знать, что я его заметил: он подошел, пристроился у меня на одеяле и, наклонив лицо (незнакомый запах) ко мне, прошептал: «Не спишь, Росс?» Я шепотом ответил, как обычно, успокаивая его. Он заговорил о том, что в эту лунную, морозную ночь он будто пьяный, и ноги сами пускаются в пляс, как от джина.

Вдруг он снова наклонился и произнес, очень мягко: «Ты знаешь, что со мной этой ночью было? Встретил я девушку… ну, девушка-то она была не девушка, и мы… в общем, все у нас сложилось. Помнишь, я у тебя доллар[43] занял в понедельник? Ну, значит, он и пригодился. — Он всем своим весом бросился на узкую кровать, возбужденно шепча: — Знаешь ведь, как это — ручная стирка, и все такое? Ну, так это — небо и земля. Тряхануло меня, как все двести вольт. Я думал, мы взорвемся, как бедолага Моулди со своей машиной. Я всю дорогу сюда бегом бежал, ни разу не передохнул. А тут ведь все пять миль, так? Бриджи, обмотки — господи, как я бежал! Вот потрогай здесь и здесь, мокрый весь, как мышь. Все тряпье хоть выжимай. Не думаю, что смогу лечь этой ночью. А Таг где? Так, как в первый раз, никогда больше не будет: но, господи, как же это было здорово. Слушай, что мне делать-то? По-моему, надо это обмыть. Выпить есть?»

11. На параде

Командир авиационной части, весьма экзальтированная личность, прошелся по нашему узкому плацу, едва не пряча зевок за перчатками, и позволяя факту нашего присутствия лишь немного зацепить его рассеянный взгляд. Долли (как мы непочтительно зовем его) сыграл свою роль в делах: управлял городами, планировал битвы и нес смерть многим сотням людей. Он наслаждается столкновением мыслей и такими исследованиями ума, которые заходят в далекие и неожиданные края. А то, как на человеке надет мундир, он обычно считает его личным делом. Поэтому мы любим его как командующего офицера: его можно привести в пример и похвастаться: к тому же его отчужденная застенчивость вступает в союз с его памятью о тех временах, когда все было по-настоящему, чтобы спасти нас от излишнего формализма.

Эта инспекция продолжалась всего пятнадцать минут. Ветер набрасывался на наши ряды, тоже проводя инспекцию, но уже грубее. Он откидывал назад полы кителей у противоположного ряда (и у нас, несомненно, на глазах у них), показывая бледно-синюю подкладку и край брюк у каждого. Солнечный свет падал на вздымающуюся или опадающую ткань под углом, освещая ее. Так что неподвижные фигуры, казалось, все вместе подавали сигналы. Это движение в своем роде разрушало иллюзию, ради представления которой нас тут собрали — быть голубыми цилиндриками, стоящими не двигаясь, едва дыша, держа равнение, глядя перед собой.

Ветер, не заботясь о наших усилиях, бушевал, хлестал внезапно возникающие изгибы на штанинах — длинные дуги извивов, от паха до лодыжки, сильно искажая представление о ногах внутри них. Тем временем адъютант, как поводырь медведя, вел многострадального Долли вдоль трех наших нескончаемых рядов, одетых окороков, зашитых в мешки из однообразной саржи. Долли был слишком цивильным, чтобы разочаровывать адъютанта отказом: и слишком порядочным, чтобы придирчиво изучать унылую плоть его людей, до такой степени выставленную на судилище. Очень скоро раздался его знаменитый финальный приказ: «Продовжайте, ставшина», — прошепелявленный с облегчением и застенчивым салютом в нашу сторону. Молодец, старик.

Как же мстит этот бесчеловечный сборный пункт своим жертвам! Любая команда, даже на этих шутовских парадах, снова напоминает мне горячий запах нашего задыхающегося отряда и звук шагов Стиффи, топающего взад-вперед. За этим следует инстинктивное содрогание каждого нерва: и я направляю свою ненависть на муштру — ту ненависть, с которой мы прошли

сборный пункт. Попытки Стиффи подталкивать молодежь сделали прирожденных летчиков глубоко невоенными. Летчик на сборном пункте был летчиком извращенным. То нездоровое подчинение, которое он всуе называл дисциплиной, не содержало ни малейшего корня мотивации того служения, которое наполняет это место.

Власти, видимо, боятся использовать это тяготение, эту посвященность непреклонной целеустремленности, которое лежит в основе нашей профессии. Хуже того, они выставляют себя на посмешище, когда дергают за нашу самую незначительную струну своей рисовкой. Когда пять сотен летчиков на параде видят, как их офицер марширует к командиру эскадрильи (оба в нашей столовой ходят под именами Чинг и Алек), видят, как он замирает, щелкнув каблуками, на положенном расстоянии, волнообразно вытягивается и отдает честь, будто стреляет из пистолета — тогда пять сотен летчиков тихо хихикают. Все это театрально, а театр в Англии означает цирк, а цирк означает клоунаду.

Может быть, в дни рыцарства даже север с любовью относился к параду оружия и приходил в трепет от прикосновения к мечу, от вида знамени. Может быть: хотя я прошерстил всю средневековую литературу после дней рыцарства, нашел его останки, легенды, воспоминания о нем или осмеяния его, но никогда — подлинный предмет. Сегодня эти манеры так расходятся с социальной системой, что твердое укоренение последней заставляет сомневаться, была ли когда-либо у англичан столь горячая кровь, чтобы они могли проглотить это дуракаваляние, не запивая алкоголем.

12. Полицейское дежурство

Сегодня, в субботу вечером, закончилось летнее время. Так что наша очередь стоять в часовых была на час длиннее, чем по обыкновению. Странно это было — ходить взад-вперед, убивая время, когда само время, или, скорее, часы, стояли на месте. Этот лагерь снабжен электрическими часами. Поначалу ночь была приятной, потому что воздух (не слишком холодный) был тихим. Весь лагерь спал, и на дорогах не было движения. Транспортный двор, вверенный нашим заботам, открывается на гладкую, покрытую гудроном главную дорогу, и он довольно просторный. Лунный свет заполнял его. Вдоль неба ползла тонкая дымка, такая прозрачная, что ее проницаемость усиливала яркость луны.

Постепенно, когда туман сгущался, луна, казалось, стала блекнуть. Ее лучи падали на холм, поросший деревьями, которые

окаймляли дальнюю сторону дороги, отбрасывая на нее отражение, как скала, оттеняющая равнины своей высотой. Туман был еще сухим, поэтому свет стал пыльным, и деревья были припорошены серостью. Серые деревья перевязаны у самых корней серой лентой сухих оолитовых[44] плит, хорошо пригнанных: и, сияя сквозь рощицу (не настолько густую, чтобы закрыть листьями каждый просвет), светили часовые лампы электростанции, подобно глазам зверя: а трансформатор, единственный, который работает по ночам, то тихо, то громко повизгивал, когда крутился.

Листья, первые из призванных осенью, падали по одному, редко, печально, как будто деревья осознавали каждую потерю. Мы с луной считали их падения. У ворот зазубренные листья платанов лежали перевернутые, такие пепельно-бледные на черной траве, обрамлявшей дорогу, что притягивали лунный свет: и сначала я принял их за страницы, вырванные из блокнота.

Луна все еще глядела, пока я подбирал слова к тому, что мы видели. Мое недеятельное зрение обычно видит мало: поэтому, когда что-нибудь пробивается через мой перегруженный ум, я сразу же пытаюсь запечатлеть его форму во фразах. В эту ночь мне улыбнулось счастье, потому что один конец моей дорожки был отмечен сигнальной лампой на пожарной станции. Я пользовался ее отблесками, чтобы записать слово или группу слов, которые мой ум и мои ботинки отстукивали во время дежурства.

Потом ночь стала очень холодной. Прохлада от земли просачивалась в меня сквозь кожу под ногами. Собрался туман и почти спрятал луну. Моя одежда поседела от влаги: к тому же на меня навалилось желание спать, почти неудержимое. Когда часы, наконец, снова двинулись, и стрелки поползли к получасу моего освобождения, я был более чем рад.

Жаркий воздух и свет караулки оскверняли мое лицо: так же, как вынужденное общество военных полицейских, этих вшей на теле BBC, оскверняло мое самоуважение. Они освободили для меня место на скамье, рядом с огнем, и Коротыш передал мне свою кружку с какао, чтобы помочь мне оттаять. Мой приход прервал капрала Пейна, полицейского, источавшего похоть, посреди рассказа о каких-то приключениях в Лондоне во время последней отлучки. Он был так искусен в словах (мы обычно не блещем свободным владением языком), что, как я подозревал, эта история была рассказана уже не раз.

Смятение холодного лунного света все еще давило на меня, и я упустил большинство подробностей. Кажется, спальня его шлюхи была где-то за Голден-сквер. Она уложила его на кушетку

и не пустила в свою кровать, которая была в нише, за занавесками; поэтому, когда она мылась, он подглядел внутрь: и увидел мертвого ребенка, лежащего на стеганом покрывале. «Он уж три дня, как умер», — всхлипнула девица.

Капрал настаивал, чтобы она избавилась от тела поскорее. Они завернули его в коричневую бумагу и отнесли в соседний двор, где обрывистые стены доходного дома выталкивали почти на все небо ночной колпак Лондона из дыма и тумана, так что его сверкающая дуга едва смягчала кромешную тьму.

Посреди двора была большая канава, прикрытая люком, чтобы сгонять поверхностные воды в канализацию. Пейн ощупал решетку, нашарил там задвижку и открыл ее. Он начал запихивать тело туда: но, похоже, там была какая-то помеха. Он встал на колени, чтобы запустить правую руку под низ и убрать ее; вдруг чья-то рука легла ему на шею, и громкий голос произнес: «Ну, и что это вы тут делаете?» Это был дежурный сержант, а он спал в своей кровати, в полицейской казарме. «Господи, какое облегчение».

13. Путь птицы

Летчики настолько здоровы и подвижны в суставах, что для них двигать своей плотью — это радость. Деятельность для них еще не стала напоминанием о том, как человек распят на кресте своего тела. Поэтому мы занимаемся строевой подготовкой сурово, отчаянно сурово, упражняя свои тела. Это род развлечения — просто доводить их до одышки. Неровность этого массового усилия — свидетельство тому, что после нерабочего времени каждый до крайности заботится о своем здоровье и мускулах.

Стиффи назвал бы эту заботу бунтарством, ведь мы больше печемся о движении, чем о комбинации, претендуем на индивидуальное благо и превращаем его ритм всего лишь в средство физической подготовки. Этот урок вежливости сороконожки стал случайным благом среди рабства сборного пункта. Рабство? Теперь мы зовем это солдатчиной, проституством, показухой. Летчик в летном училище, который смеет пытаться достичь совершенства в муштре — это засранец, пакостник, ползучий гад.

Преемником Стиффи стал новый, искупающий стандарт дела, которому посвящена жизнь. В этой добродетели мы противостоим тому газу милитаризма, которым дышат на нас наши сержанты: восемь из десяти сержантов — старые солдаты или старые моряки, перемещенные на позиции ВВС, пока эта младенческая

служба не вырастит своих собственных ветеранов. Они стараются изо всех сил с нами, свалившимися с луны, эти старые умы, застывшие еще до того, как их перевели сюда: но мы с ними говорим на разных языках: их традиционный взгляд не может даже постичь, как далеко мы ушли от их прошлого.

Летчики ценятся в терминах своих ремесел. Поразительная ответственность, которую возлагает на нас наше поколение — чтобы наши самолеты всегда могли подниматься в воздух, поднимать наших хозяев и нас самих. Если эти хозяева понимают долг так, что прерывают рабочие часы муштрой, тем в меньшей степени они становятся нашими хозяевами: но мы не должны жаловаться, разве что частным образом. То общество, которое платит им и нам, пусть и следит само за этим. А еще, возможно, они подобны хитрому старому Тиму, который изводит нас показухой, если увидит след грязи на наших машинах. После хотя бы минуты на плацу — как прекрасна, как реальна работа!

Наказание за леность на своем посту — да, это разумная функция муштры. Люди никогда не работают долго без наказания: но для тонкокожих оно должно быть легче пера, ощутимое для жертвы лишь последующим действием. А если власти впадают в ошибку и требуют, чтобы строевая подготовка выполнялась хорошо ради нее самой, или для красоты, чтобы закалить нашу выносливость — ну что ж, тогда политическое тело гниет. Мы инстинктивно работаем проворно, стремясь, в известных пределах, переиграть противника. По крайней мере, таковы наши намерения: но все мы не настолько святые или не настолько искусные, чтобы вовремя остановиться. Наши легковесы злятся и вымещают злость на ни в чем не повинной работе, отождествляя свои великолепные войска с каким-нибудь маньяком муштры.

Крепкие словечки показывают, как мы задеты. В летном училище была одна жертва аборта (мы звали его — лобстер с часовым механизмом), для которого поэзия, высокие чувства и усердие в достижениях среди «мехов» были бесами, коих следовало изгнать из них молотом дисциплины. Когда Долли отпустил этого лобстера на длинный поводок, наши жалобщики работали в мастерской медленнее, не только в день строевой подготовки (мы все это делали, с отвращением. Горько, когда тебя предает офицер твоей же службы), но за день до того и за день после того. К счастью, большинство видит, что не к лицу нам показывать, как такая мелочь может разозлить нас.

Вопреки этим немногим большевикам, люди моего склада станут упираться, изо всех сил проповедуя подчинение: даже, если надо, столь же низкое, как на сборном пункте, оскопляя себя

до такой степени, чтобы ждать приказа по каждому поводу. Пусть милитаристы делают что хотят, пусть доходят до энной степени бесполезности. Время играет нам на руку. Если технари будут держаться вместе и с унылой улыбкой подставят дисциплине обе щеки, и в придачу свое техническое мастерство, — ну что ж, вскоре полная свобода будет нам навязана, чуть ли не силой, когда откроется, что солдат и механик — идеалы взаимоисключающие. По мере того, как обогащается летное искусство, ремесло должно углубляться в тайну или проникать глубоко, тогда и не будет в ВВС провалов с тем сырьем, которое сейчас проходит вербовку. Сама служба переросла свой рядовой состав, переросла своих начальников.

Офицеры могут задержать прогресс на несколько лет; не более. Даже сейчас механики задают тон в рабочие часы. Гаечный ключ, отвертка, скребок, напильник — вот наши знаки отличия, а не оперенные крыла, не мечи, не орлы. За наше уважение соревнуются те офицеры, которые приказывают нам носить трость на публике, и те, кто изобретает новую модель самолета или патентует лишних две тысячи люфтов в шестерне планетарной передачи. Ну и кто же из них завоюет одобрение людей, столь гордых своими профессиями, как мы? А все-таки первые думают, что запугают нас, выступая перед нами с задранным носом на параде, тогда как вторые — сутулые, застенчивые, все в пятнах машинного масла. Вот так расходятся пути!

Это истинная опасность. В этой новой службе нет ничего более традиционного, чем древние ремесла: ничего более человечного, чем механик вне службы: ничего более сентиментального, чем редкая пантомима в Уэмбли или в Хендоне. Работающий механик не станет веселиться, подчиненный рвению к неопределенной победе над своей ненаблюдаемой головой — ненаблюдаемой в основном потому, что офицерская столовая держится тона школы-интерната и поэтому не смеет взглянуть за пределы конкретного.

Те, кого мы относим к своей природной аристократии, одним тем, как держат инструмент, выдают три поколения ремесленников за спиной. Если этого нет, то, будь ты лучшим парнем на свете, ты не станешь нашим вождем. Вот пилот влезает в один из наших самолетов, рывком открывает дроссель и чуть ли не пинками гонит его в воздух. Послушайте только, как мы клянем его кулачную расправу с машинами! Нашими машинами, будьте любезны: любимыми созданиями, каждый сокровенный болт и протянутый лонжерон которых прощупали наши заботливые пальцы. Многие офицеры знают в своих кабинах лишь спинку сиденья и подушку. «Офицеры? Да ебал я их», — процедит

монтажник или сборщик, чуть не плача от злости.

14. Классы

Министерство авиации признает, что мы не зря почитаем технических инженеров, когда выдвигает в сержанты или сержанты-пилоты лучших из механиков: тех, кто чувствует душу машины и для кого гладкий холостой ход звучит, как поэзия.

Они составляют нашу заслуженную аристократию. Против них, поверх них, находятся повелители духовные, офицеры: чье достоинство исходит извне, дарованное неким наложением рук. Когда эта властная душа, вроде Тима или Таффи, одна на отряд, то все хорошо. Исходная ущербность характера в каждом, кто завербовался на службу, делает его готовым смеяться или плакать всегда, как ребенок: но редко оставляет его трезвым. Так что отеческая рука не кажется нам неуместной или неприятной. Мы обретаем силу через наше исходное недомыслие.

Наше сознательное самоумаление исключает Тима из области сравнения или соревнования: но сейчас поднимается новая категория летчиков, мальчик-ученик. Они нарушают наше единство сейчас, так как мужчины недолюбливают мальчишек: но это неизбежная и преходящая фаза. Скоро прежние мальчики станут большинством, а те ВВС, которые я знал, будут вытеснены и забыты. Пока что здесь существует ревность и придирки.

Мальчики приходят прямо из школы; бойкие в теории, они умеют писать сочинения, знают кабинетные трюки, но никогда не видели настоящей работы или настоящего самолета: а реальность, которая приносит за собой ответственность, на вид и на ощупь совсем не такова, как школьные уроки. Поэтому их на год ставят работать рядом с мужчинами. Старый монтажник с годами службы за плечами, у которого ремесло уже въелось в пальцы, оказывается попечителем мальчишки-начинающего, которому платят вдвое больше. Малец ловко оперирует словами и вышел из школы ведущим механиком авиации: старик едва умеет грамотно писать и навеки останется механиком второго класса. Он обучает это вышестоящее лицо с большой неохотой.

Да и не все экс-мальчики облегчают задачу тем, кого они собираются заменить. Как класс они самонадеянны. Вспомните, как шугали нас, новобранцев. За нашей спиной в испытаниях гражданской жизни стоит тень поражения. С горечью мы сознаем по своему опыту, что не так хороши, как люди вовне. Так что офицеры, сержанты и капралы могут стращать нас, и мы склоняемся: даже еще больше льстим им за это. Это чувство приниженности не может спасти нас от тягот дисциплины

(мучитель всегда найдет способ быть суровым, хотя бы просто чтобы вложить в нас страх божий), но оно придает нам смирение домашних псов, в рамках дисциплины.

Летчики будущего не будут отданы в такое расположение своей службе душой и телом. Они скорее сами будут этой службой, будут поддерживать ее и свои права в ней, как одно целое с офицерами. В то время как у нас нет прав, разве что на бумаге, да и тех мало. В прежние дни механик каждую неделю должен был снимать ботинки и носки и выставлять свои ноги на инспекцию перед офицером. Бывший мальчик пнет вас в челюсть, если вы наклонитесь поглядеть на его ноги. Так же и с банными списками, сертификатами от вашего сержанта, что вы принимали ванну на этой неделе. Одну! А что до проверки снаряжения, проверки комнат, проверки обмундирования — все это предлог для догматиков среди офицеров, чтобы устрашать, а для любителей совать всюду нос — чтобы выставлять себя скотами. О, какие деликатные приемы нужны, чтобы вмешаться в личные дела необеспеченного человека и не оскорбить его при этом!

Бывшие мальчики в ВВС — профессионалы, это их привилегия, и они превращают службу в свой дом. Скоро, когда они заставят почувствовать свой стиль, офицеры начнут входить в помещения к своим рядовым только в сопровождении, по приглашению, как гости и с непокрытой головой — так, как входим мы в офицерскую столовую. Офицерам не будет дозволено сбрасывать свою форму, чтобы появляться в обществе, когда рядовые повсюду ходят заклейменными. Если прогресс будет продолжительным, должна наступить эра истинного партнерства в нашем труднейшем усилии.

15. Непрочность

Мои заметки о летном училище стали короче, начали обрываться, остановились. Месяц за месяцем летел прочь в молчании. Мне кажется, что я стал счастлив. «Почему, — жаловался Э.М.Ф.[45],— с годами оказывается все труднее и труднее писать это слово?» Потому что, когда мы пишем, мы не счастливы: мы лишь вспоминаем счастье: а восстанавливать в памяти преувеличенные тонкости счастья — в этом есть что-то нездоровое, незаконное: это превышение кредита, выданного жизнью.

Если бы счастье принадлежало нам по праву, мы могли бы сделать его своей привычкой, эгоистично замыкаясь в нем: хотя этот полный покой ограниченного круга не сравнится с половинчатым покоем более широкого: но счастье, хотя оно

изначально зависит от нашего внутреннего равновесия желаний и возможностей, отдано также на милость нашего внешнего окружения. Один диссонанс в нем — и весь день расстроен.

Мы, на службе, если приходят хорошие времена, хватаемся за них: зная, что слепая судьба на минуту посмотрела на нас сквозь пальцы. Летное училище, пока я там был, как раз проходило через такой золотой период: и команда Б была, возможно, лучшей в летном училище. Если поднимать взгляд со дна так высоко, как только можно, до самого командующего частью — каждая ступень наших командиров была благодатью. Нам повезло с Тимом, повезло с нашим сержантом и капралом. Внутри казармы мы были свободны и равны. Военные могут существовать в гармонии, если терпят друг друга. В команде Б нам повезло еще больше. Мы нравились друг другу.

Была в этой симпатии черта безысходности. Мы знали свое непостоянство. Отряд был таким же непрочным и хрупким, как летнее облачко. Каждую неделю наше доверие могли поколебать какие-нибудь слухи об изменении. Примерно каждый месяц изменения действительно случались. За несколько дней до того мы ходили кругами — зная, что старину Тага переводят, и пытаясь оценить, чего нам будет особенно не хватать без него: а новый? Кто это будет? Как он притрется?

Я не забуду то черное отчаяние, которое оглушило меня, когда приблизился день моего собственного ухода в ссылку, куда я сам себя отправил, чтобы спасти свою ВВСовскую шкуру от эха безумия 1918 года. Тогда я потерял лучший дом и лучшее товарищество за сорок лет своей жизни. Я задаюсь вопросом, кто занял мое место? В обществе, состоящем из двенадцати человек, каждый игрок имеет значимость солиста, а плохой портит все. Три недели у нас был неподходящий сержант, который превратил самый довольный и работящий отряд летного училища в бунтующее бедствие. Судьба летчика — осенняя паутинка, которую приводит в беспорядок одно дуновение, и его жизнь печальна своей хрупкостью.

Конечно, мы стараемся умерить зло. Первый инстинкт существования учит нас жертвовать всем, что может поставить под угрозу эту прочность. Двенадцать человек, зажатых в одной спальне — мы никак не можем позволить себе роскошь иметь острые углы. Идеал военных — быть такими же схожими и плотно прилегающими друг к другу, как ячейки сот. Если один недолюбливает другого и показывает это, команда будет лишена единства: и скорлупа ее удобства треснет. Мы так культивируем личину дружелюбия, что из маски она становится привычкой, из привычки — убеждением. Чтобы сохранить ее, мы выбрасываем за

борт наши истинные свойства или укрываем их так глубоко, что сами не слышим их голоса. В казарме ни одна точка зрения не высказывается без оговорок, ни одно мнение не продвигается достаточно упорно, чтобы могло задеть. Мы в своем кругу движемся малым ходом.

Это заточение внутри помещения требует мятежного выхода наружу где-нибудь еще. От этого идет жар и воодушевление в нашей работе. Оттуда же наша страсть к играм. В практическом споре футбольной игры можно делать все, за что обычно ругают, раздавая и получая удары; можно с великолепным презрением относиться к грязи, к своей одежде и своему телу. Если бы мы жили с такой же отдачей, как играем, жизнь наша была бы нешуточной. Те, кто не играет, могут найти выход в неумеренном общении среди окрестных городов и деревень. Немногие находят это в пьяном баре столовой.

16. Дорога

Причуда, в которой мои лишние эмоции находят выражение — дорога. Пока есть дороги, заасфальтированные, синие и прямые, лишенные перегородок, пустые и сухие — я богат.

По вечерам я выбегаю из ангара, завершив последние штрихи работы, и понуждаю свои усталые ноги к проворству. Само движение освежает их после целого дня труда. В пять минут моя кровать расстелена и готова ко сну: еще четыре — и я в бриджах и обмотках, натягивая перчатки, иду к своему мотоциклу, который живет в гараже напротив. Его шины никогда еще не сдувались, его двигатель имеет привычку заводиться со второго пинка: хорошая привычка, потому что, лишь отчаянно нажимая на педаль стартера, могу я со своим ничтожным весом заставить двигатель перевалить через семь атмосфер.

Первый радостный рев ожившего Боанергеса[46] по вечерам встряхивает бараки летного училища. «Вот и этот шумный паршивец», — с завистью говорит кто-нибудь в каждом отряде. Часть профессии летчика — разбираться в двигателях: и двигатель чистых кровей вызывает в нас непреходящее удовлетворение. Лагерь носит достоинства моего «броу», как цветок на фуражке. Этим вечером Таг и Дасти вышли на ступеньки барака, чтобы проводить меня. «Наверно, заглянешь к Смоку?» — подначивает Дасти, намекая на мою регулярную забаву — ездить в Лондон и обратно к полднику в среду, если хорошая погода.

Боа — машина с высокой передачей, и потому так же хорош, как большинство средних одноцилиндровиков. Я стреляю

глушителем, как важная персона, проезжая мимо караулки, лишь слежу, чтобы скоростной предел был не больше шестнадцати. Вдоль изгиба дороги, мимо фермы, и путь выпрямляется. Ну вот. Последнее раскручивание двигателя — пятьдесят две лошадиные силы. Чудо, что вся эта послушная сила ждет за одним крошечным рычагом, чтобы моя рука соизволила привести ее в движение.

Еще один поворот: и к моим услугам все великолепие одной из самых прямых и быстрых дорог Англии. Дым из выхлопной трубы вьется позади, как длинный провод. Моя скорость быстро обрывает его, и я слышу лишь вой ветра, который моя голова, бьющаяся об него, разделяет и отгоняет в стороны. По мере прибавления скорости этот вой поднимается до визга: а прохладный воздух струится, как два потока ледяной воды, мне в глаза, и передо мной все растворяется. Я щурюсь изо всех сил и сосредоточиваю взгляд на две сотни ярдов впереди, среди пустынной мозаики волн асфальта, посыпанного гравием.

Как стрелы, крошечные мошки жалят мне щеки: а иногда что-то более тяжелое, муха или майский жук, врезается в лицо или в губы, как шальная пуля. Взгляд на спидометр: семьдесят восемь. Боанергес разогревается. Я тяну дроссель, пока он не откроется, взбираясь на уклон, и мы летим через канавы, вверх-вниз, вверх-вниз, по серпантину дороги: тяжелая машина, которая швыряет сама себя, как реактивный снаряд, стрекочет колесами в воздухе на каждом толчке подъема, чтобы со встряской приземлиться, и ведущая цепь так вырывается, что мой позвоночник содрогается, как челюсть.

Однажды мы летели так сквозь вечерний свет, слева желтело солнце, и вдруг огромная тень взревела над головой. Истребитель «бристоль», с Беленых Вилл, нашего соседнего аэродрома, заложил рядом резкий вираж. Я на миг сбавил скорость, чтобы помахать ему, и воздушный поток от моего движения подхватил мою руку и локоть в обратном направлении, как поднятый цеп. Пилот показал на дорогу к Линкольну. Я устроился покрепче в седле, заложил уши и отправился за ним, как собака за зайцем. Мы быстро двигались рядом, пока его побуждение снизойти до моего уровня не исчерпало себя.

Следующая миля будет трудной. Я вжал ноги в педали, вытянул руки и стиснул коленями корпус, резиновые накладки на его топливном баке вспучились под моими бедрами. Над первой кротовиной Боанергес удивленно взвизгнул, его крыло опустилось, взвизгнув по шине. Следующие десять секунд на подскоках я цеплялся, сжимая рукой в перчатке рукоятку дросселя, чтобы ни одна кочка не могла закрыть его и испортить

нам скорость. Потом мотоцикл швырнуло в сторону, на трех длинных впадинах, он делал головокружительные повороты, виляя хвостом, все тридцать ужасных ярдов. Сцепление разжалось, двигатель несся свободно: Боа запнулся и выпрямился с дрожью, как подобает истинному «броу».

Плохая дорога кончилась, и по новому пути мы летим, как птица. Голову откидывает ветром, так что уши изменяют мне, и кажется, что мы мчимся беззвучным вихрем среди жнивья, позолоченного солнцем. Я осмелился на подъеме неуловимо замедлить движение и искоса взглянуть в небо. Там был «биф[47]», за двести с лишним ярдов. Сыграем? Почему бы нет? Я замедлил до девяноста: сделал ему знак рукой, чтобы он перегнал меня. Сбавил еще десять; приподнялся и прогрохотал мимо. Его пассажир, в шлеме и очках, усмехаясь, высунулся из кабины, чтобы проводить меня соленым приветствием ВВС: «давай выше!»

Они надеялись, что я — мелкая случайность, и просто отдаю им должное. Снова открылся дроссель. Боа крадется ровно, в пятидесяти футах под ними: поравнялся с ними: двинулся вперед по чистой, пустынной местности. Приближающаяся автомашина чуть не нырнула в канаву при виде наших гонок. «Биф» маячил среди деревьев и телеграфных столбов, а я, мчащееся пятно, всего в восьмидесяти ярдах впереди. Однако я опережал его, стойко опережал: может быть, шел на пять миль в час быстрее. Моя левая рука опустилась, чтобы дать машине пару лишних порций масла, из опасения, что перегреется что-нибудь: но с таким двухцилиндровым верхним движком от Джапа можно спокойно сгонять на Луну и обратно.

Мы почти уже подъехали к селению. За длинную милю до первых домов я закончил гонки и спустился к перекрестку у больницы. «Биф» поравнялся со мной, заложил вираж, набрал высоту и повернул обратно, и оттуда махали мне, пока я был в поле зрения. Здесь было четырнадцать миль от лагеря: и пятнадцать минут с тех пор, как я оставил Тага и Дасти у дверей.

Я снова выжал сцепление и легко спустил Боанергеса с холма, вдоль трамвайных путей, по грязным улицам, и вверх, к одинокому кафедральному собору, стоявшему в холодном совершенстве над низменными окрестностями. Линкольн[48] не несет послания о милости. Наш Бог — ревнивый Бог, и все, что может предложить человек, падет, в презренном недостатке достоинства, в глазах святого Гуго и его ангелов.

Ремигий, приземистый старый Ремигий глядит с большей благосклонностью на нас с Боанергесом. Я поставил это стальное чудо силы и скорости у его западной двери и вошел: и нашел там

органиста, репетирующего что-то медленное и ритмичное, как таблица умножения, только в нотном виде. Изъеденное, неудовлетворительное и неудовлетворенное кружево хоров и перемычек потонуло в главном звуке. Его преизбыточность задумчиво струилась мне в уши.

К тому времени мой желудок позабыл об обеде, глаза горели и слезились. Снова на улицу, чтобы промыть голову под колонкой «Белого оленя»[49] во дворе. Чашка настоящего шоколада и кекс в чайной: и мы с Боа едем по ньюаркской дороге, в последний час светлого времени суток. Он легко идет на сорока пяти и, ревя изо всех сил, переваливает за сотню. Норовистый мотоцикл голубых кровей лучше всех верховых животных на свете, потому что логически расширяет наши возможности и несет в себе намек, провокацию превзойти их, своим приятным, неутомимым, ровным движением. Боа любит меня, и потому дарит мне на пять миль больше скорости, чем получил бы от него чужой.

В Ноттингеме я добавил сосиски от своего оптового торговца к бекону, который купил в Линкольне: бекон так удачно порезан, что каждый ломтик стоит пенни. В надежные корзинки позади седла все это укладывается, а на следующей остановке (на ферме) — еще и обитая фетром коробка с пятнадцатью яйцами. Теперь домой, через Слифорд, нашу неопрятную, но зажиточную и гордую этим деревушку. У здешнего мясника для меня приготовлены шесть кусков сала по пенни. Месяцами я проделываю свой вечерний круг покупок, дважды в неделю, проезжая сто миль ради этого удовольствия и приобретая лучшую еду по самой низкой цене, объехав половину округи.

17. Четверг, вечер

Огонь, такой, какой нужен для приготовления пищи, краснеет между решетками печи, пламя и дым уже выгорели. Половина девятого. Остальные десять человек переговариваются в синем табачном дыму, двое на стульях, восемь на скамейках, ждут моего возвращения. От скорости моих последних виражей, при свете одного фонаря (самое суровое испытание для ездока) ноги у меня подкашиваются и слегка запинаются. «Ого, приятель, — усмехается Дасти. — Снова заднице твоей досталось?» Им нравится считать меня лихачом. Чтобы подпитать это тщеславие отряда, я радую их подробностями своего состязания с «бифом».

«Чего-нибудь привез?» — наконец спрашивает Ниггер, у которого в кармане, как всегда, не так густо, чтобы пойти в столовую. Я знал, что чего-то не хватает. Возбуждение последнего рывка и пришедшая усталость выгнали из моей памяти набитые

корзины «броу». Снова выхожу в ночь, прохожу сквозь черный гараж в угол, где он стоит, в дыму горячего железа, поднимающемся от его крепких цилиндров. Щелк, щелк, сумки сняты, и я вываливаю их содержимое перед Дасти, буфетчиком нашего барака. Таг приносит сковородку и становится председателем. Огонь как раз готов. Слышится шкворчание и пронизывающий запах. Я готовлю свои обычные два ломтя хлеба с маслом.

Ниггер взвешивает свои возможности. «Почем яйца?» — спрашивает он. Молниеносно подсчитываю: полтора пенни. Правильно, он выбирает одно яйцо. Ломтики бекона — по пенни. Два, и две сосиски за два пенса. Он катит ко мне по столу шестипенсовик. «Сдачу возьми себе, за масло», — бормочет он. Остальные выбирают и платят. В этой торговле нет ничего такого: у нас не было ссор из-за ужина всю зиму. В столовой еда дороже, хотя и недорогая: и куда менее вкусная, чем эти плоды нашего собственного промысла и приготовления. А еще там надо ждать в очереди десять минут, чтобы тебя неприветливо обслужили.

Пэдди, последний из сегодняшних поваров, чистит сковородку на завтра — вытирает с нее брызги огромной коркой столовского хлеба. Позже мы увидим, как он запихивает этот хлеб себе в рот. «Старый собиратель грязи», — задиристо называет его Таг. Тем временем граммофон играет что-то джазовое, чтобы придать ужину очарование. Мой мозг еще слишком взъерошен после трудной поездки, чтобы годиться для струнной музыки, смазывающей сырой вечер. Сегодня вечером я пьян — опьянен воздухом. Отбой застает всех нас за желанием спать. Завтра золотой орел перелиняет для нас.

18. Интерлюдия

Жизнь на службе, таким образом, учит человека широко жить за счет немногого. Мы принадлежим тому великому делу, что будет существовать во веки веков, в бесчисленных поколениях обычных летчиков, таких, как мы. Внешняя одинаковость нашей одежды и отличительных знаков напоминает нам об этом. А еще — наша отгороженность от других и сосредоточенность. Наши группы расширяются за летным училищем, за аэродромом, за сборным пунктом, над сотнями лагерей, над половиной мира. Привычка «принадлежать» к тому или иному вызывает в нас чувство, что мы — часть множества.

Когда мы достигаем привязанности, то снимаем с себя личность. Отметьте духовную важность таких мелочей, как эти комбинезоны, в которые мы укрываемся, когда трудимся, подобно

роботам, чтобы стать одетыми контурами, не имеющими внешней привлекательности или отличия, такими беззаботными. Одежда, за которую человек должен платить, становится для него оковами, если он не богат и не расточителен. Эта рабочая одежда, которой нас обеспечивает ВВС — не последняя из наших свобод. Когда мы надеваем ее, масло, вода, грязь, краска, все подобные случайности сразу же становятся нашими друзьями.

Промежуток теплой погоды вернулся к нам, как будто лето постеснялось покидать этот холодный север. Ветер все еще кусачий; но наш ангар укрывает тихий полумесяц гудрона и травы, и его открытая пасть — настоящая ловушка для солнца. Днем восемь из нас лежат там, ожидая машины, которая ушла на юг и теперь запаздывает. Чудесно, когда единственная обязанность — ждать час за часом на теплом солнышке, поглядывая в сторону юга.

Мы были слишком переполнены довольством, чтобы разговаривать, опьянены поглощением глубины, большей, чем физическое удовлетворение. Просто лежали, раскинув руки, вперемешку, устроив головы друг на друге, вздыхая в счастливом избытке расслабленности. Солнечный свет лился с неба и таял среди нашего сплетения. С торфа под нашими влажными спинами шел такой же жар, соединявший нас с ним. Наши кости расслабились, чтобы стать частью милостивой земли под нами, ее таинственный пульс бился в каждом содрогании наших тел. Запахи аэродрома площадью в тысячу акров смешивались с привычным масляным запахом нашего ангара, природа — с искусством: а тем временем бледное море травы дрожало мелкой зыбью, прежде чем ветер поднял зеленую волну, которая шипела и струилась сквозь щелки наших глаз, прикрытых от жары.

Такие всепоглощающие минуты заставляют кольчуги и ограды нашей личности распадаться обратно на углеводородные элементы бытия. Эти мгновения приходят к служивым очень часто, потому что мы легко уступаем добру и худу любой минуты.

У летчиков нет имущества, мало связей, немного повседневных забот. Долг теперь предписывает мне лишь то, чтобы сияли пять пуговиц спереди.

И о летчиках заботятся так же мало, чем они сами заботятся о чем-то. Их простые взгляды, обращенные вовне; их естественная жизнь; скудное воображение, которое не раздирает, не вспахивает низины их умов — все это выставляет их, как землю под паром, на вольный воздух. Летом мы с легкостью принадлежим солнцу. Зимой мы с трудом, без защиты, идем по дороге, дождь и ветер изводят нас, пока вскоре мы сами не становимся дождем и ветром. Мы бежим на рассвете к прозрачному бассейну училища

и ныряем в эластичную воду, которая облегает наши тела тесно, как кожа: и ей мы принадлежим точно так же. Везде связь: одиночества больше нет.

Я не могу написать слово «конец» в этой книге, пока я еще на службе. Иногда я надеюсь, что не напишу его никогда.

notes

Примечания

1

Эдвард Гарнетт (1868–1937) — английский писатель, критик, выдающийся редактор, сыгравший значительную роль в публикации произведений многих его современников — Д. Г. Лоуренса, Дж. Голсуорси, Р. Фроста, также редактировал и «Семь столпов мудрости», вел обширную переписку с Т. Э. Лоуренсом; его жена, Констэнс Гарнетт, знаменита своими многочисленными переводами русских классиков; его сын, писатель Дэвид Гарнетт, в 1938–39 году редактировал издание писем Лоуренса.

2

Эдвард Морган Форстер (1879–1970) — английский писатель, романист, эссеист, прославившийся своими новеллами и рассказами; был другом Лоуренса, вел с ним обширную переписку.

3

Эмери Уокер (1851–1933) — английский гравер и издатель, вместе с Уильямом Моррисом, с которым разделял интерес к искусству печатного дела, положивший начало издательству «Келмскотт Пресс», после смерти Морриса основал свое издательство «Давс Пресас». (Здесь и далее, кроме оговоренных, примечания переводчика).

4

Три года спустя, уже в ином обличье, я пришел к наблюдающему офицеру, который усадил меня писать сочинение о спорте. Когда он прочел о моем неодобрении по адресу всяческого спорта, то вызвал меня и спросил: «А это не вы несколько лет назад были здесь под другой фамилией? Вы ведь тогда писали мне сочинение о побережье Уэльса?» (Примечание автора).

5

«Старый Мореход» (The Rime of the Ancient Mariner, 1797–99) — знаменитая поэма С. Т. Кольриджа, повествующая о сверхъестественных событиях во время долгого океанского путешествия.

6

Безумный Кэрью — главный герой стихотворения Дж. Мильтона Хейса «Зеленый глаз желтого бога» (The Green Eye of the Yellow God, 1911), выкравший изумрудный глаз золотого идола из индийского святилища и поплатившийся за это жизнью.

7

Хью Монтегью Тренчард ((1873–1956) — маршал авиации, стоявший у истоков британских ВВС. Дуглас Хейг (1861–1928) — фельдмаршал, командующий Британским экспедиционным корпусом в 1 мировой войне. Командовал битвой при Сомме и третьей битвой при Ипре. Дэвид Битти (1871–1938) — адмирал Королевского Флота Британии, командовал флотилией во время 1 мировой войны.

8

«Рано утром взлетит к тебе песнь моя» — строчка из христианского гимна «Свят, свят, свят Господь Всемогущий» («Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty!»), на музыку Дж. Б. Дайкса и слова Р. Гебера.

9

«Саул» — оратория Г. Ф. Генделя по Первой книге Самуила, включающая знаменитый похоронный марш по Саулу и Ионафану.

10

«Томми» (Tommy, 1892) — стихотворение Р. Киплинга из цикла «Казарменные баллады». Могло считаться уничижительным по отношению к британским рядовым, разговорное название которых — «томми», или «Томми Аткинс» — восходит к типовым образцам армейских бумаг, приложенных к уставу, где употреблялось это имя в качестве примера (как Джон Доу и Ричард Роу в английском прецедентном праве обозначали истца и ответчика).

11

Искаженное французское hors de combat — вышедшие из строя бойцы, инвалиды или ветераны. В оригинале, естественно, whores de combatte (звучит почти так же, но whores по-английски — шлюхи).

12

Христианская Ассоциация Молодых Людей (Young Men Christian Association, Y.M.C.A., а здесь, в оригинале — Y.M.), общественная молодежная организация зародившаяся в Англии, среди прочей общественной работы в рядах войск открывала на фронте и рядом с воинскими частями столовые, в которых можно было выпить чаю, почитать и передохнуть от тягот военной жизни.

13

Жюль Лафорг (1860–1887) — французский поэт-символист.

14

Belles-lettres — изящная литература, беллетристика (фр.)

15

Детская песенка про барашка, который всюду следовал за своей маленькой хозяйкой Мэри, даже в школу, еще с девятнадцатого века так популярна в Англии, что Джордж Бернард Шоу даже задействовал ее как нечто вроде шифра в своей пьесе «Горько, но правда», прототипом одного из героев которой был Лоуренс.

16

Клеркенвелл — район в центре Лондона, традиционно ассоциировался с радикальными движениями, от лоллардов в 16-м веке до чартистов в 19-м и коммунистов в начале 20-го.

17

Хейлибери — британская независимая школа-интернат, основанная в 1862 году.

18

Esprit de corps — корпоративный дух (фр.)

19

«Нильс Люне» («Nils Lyhne»,1880) — роман Й. П. Якобсена, датского писателя, поэта и ученого, родоначальника движения натурализма в Дании, посвященный судьбе, исканиям и жизненным испытаниям интеллектуала-атеиста.

20

Увы; в марте 1935 срок моей службы вышел. Дж. Х.Р. (Примечание автора)

21

«Король любви — мой пастырь» («The King of love my Shepherd is») — христианский гимн, на мелодию Дж. Б. Дайкса, переложение Псалма 23.

22

Эдит Ситвелл (1887–1964) — поэтесса, критик и редактор, известная циклом абстрактных стихов «Фасад», составлением антологии английской поэзии, книгой «Английские эксцентрики» (нечто вроде пыляевских «Замечательных чудаков и оригиналов»), равно как и собственной эксцентричной внешностью и поведением.

23

Ex officio — по долгу службы, по своему положению (лат.)

24

«Роль Королевских Военно-Воздушных Сил в Великой войне» (The Part played in the Great War by the Royal Air Force, 1922) — труд сэра Уолтера Александра Рэйли, основанный на архивах Министерства авиации.

25

«Фойл» — знаменитый лондонский книжный магазин.

26

«Всю ночь до утра» («Ar Hyd y Nos») — очень популярная в Уэльсе народная песня на слова Дж. К. Хьюза.

27

«Леди Шалотт» («The Lady of Shalott») — знаменитая баллада Альфреда Теннисона о зачарованной даме, обреченной всегда ткать волшебную паутину и смотреть на мир только через зеркало, отражающее дорогу; но, увидев в зеркале сэра Ланцелота, она покидает свой замок на острове и погибает, пытаясь добраться до земли.

28

Коалиционное правительство Дэвида Ллойд-Джорджа пришло к власти в декабре 1916 года и распалось в 1922 году, когда партия консерваторов после нескольких скандалов отказалась его поддерживать.

29

Кенотаф — (букв. «пустая могила»); надгробный памятник умершим, останки которых покоятся в другом месте или не найдены.

30

Планетарная передача — механическая система, состоящая из нескольких планетарных зубчатых колёс (шестерён), вращающихся вокруг центральной, солнечной, шестерни. Планетарная передача может также включать дополнительную внешнюю кольцевую шестерню, имеющую внутреннее зацепление с планетарными шестернями.

31

Гидравлический привод, изобретенный румынским инженером Г. Константинеско, позволял орудию самолета стрелять почти как пулемет, не обращая внимания на перемещения самолета; этим приводом были оборудованы все боевые машины британских ВВС.

32

Soit — пусть будет так (фр.)

33

Почти 83 килограмма (1 стоун = 14 фунтов = 6,35 кг).

34

Зигфрид (Сигурд) — герой древнегерманского эпоса, победивший дракона Фафнира, хранителя кольца Нибелунгов, и обретший неуязвимость, когда искупался в его крови.

35

«Господь, в веках ты помощь нам» («O God, Our Help in Ages Past») — гимн Исаака Уоттса, переложение Псалма 90.

36

Рефлекс Бабинского, названный в честь французского невролога (1857–1932) — патологическая форма подошвенного рефлекса, когда в ответ на безболезненное стимулирование стопы пальцы ноги растопыриваются, а не сжимаются.

37

Эрик Кеннингтон (1888–1960) — британский художник и скульптор, служивший на Западном фронте и посвятивший множество своих работ обеим мировым войнам; был дружен с Лоуренсом, писал его портреты, участвовал в иллюстрировании «Семи столпов мудрости».

38

Гарри Тэйт (1872–1940) — шотландский комик, выступавший в мюзик-холле и в кино.

39

«За дружбу прежних дней», или «Старая дружба» («Auld Lang Syne», 1788) — знаменитое стихотворение Роберта Бернса, положенное на народную музыку, поется чаще всего под Новый год.

40

Дэвид Джордж Хогарт (1862–1927) — хранитель музея Эшмолин в Оксфорде, в годы 1 мировой войны — начальник Арабского Бюро в английской военной разведке, наставник и друг Лоуренса.

41

После сборного пункта, в ноябре 1922 года, Лоуренс был зачислен в школу аэрофотосъемки в Фарнборо. Однако уже в декабре его личность была раскрыта газетчиками, и его спешно уволили из авиации.

42

1 акр = 0,405 гектарам.

То есть одну крону; это такой тогда в Англии был сленг.

44

Оолиты — шаровидные или эллипсоидальные образования из углекислой извести, окислов железа и марганца, лептохлоритов и пр., обладающие концентрически-слоистым, иногда радиально-лучистым строением (вокруг центрального ядра).

45

Э. М. Форстер.

46

Боанергес («Сын Грома») — прозвище, которое дал Лоуренс в 1922 году своему первому мотоциклу марки «броу супериор»; восходит от прозвища, данного Христом апостолам Иоанну и Иакову. В дальнейшем он звал свои мотоциклы, подобно английским королям — Георг I, Георг II, и так далее, вплоть до Георга VII, на котором Лоуренс разбился.

То есть истребитель «бристоль».

48

Линкольнский собор Девы Марии — собор в городе Линкольн, признаваемый воплощением английской готики. Строительные работы были начаты в 1072 году епископом Ремигием, от которого осталась сторожевая башня на западном фасаде, и продолжены амбициозным епископом Гуго, стремившимся создать грандиозное сооружение. В 1311 году строительство было завершено, и до обрушения в 1549 году центрального шпиля 160-метровый собор был самым высоким зданием на Земле.

49

«Белый олень» — название многих отелей и пивных в Англии, в честь эмблемы короля Ричарда II.